

## НА РАССВЕТЕ МЫ МИНОВАЛИ СНЕГА или СУРИКАТ РИТА ИЗ КРОНШТАДТА

А почему у вас такой изгрызенный холодильник?

Сурикаты, которые столбиком стоят, выставив для прогрева животы. У меня появился первым Сурик. Я его назвала просто как-то очень – Сурик.

Хотя нужно мне было наверно исхитриться и придумать чего-нибудь, отчебучить залихватское. Назвать, что ли, суриката – Тимон (чтоб как в мультфильме).

Но я залепетала почему-то мгновенно: «Сурик, Сура!» Хотела переименовать его позже, передумала. И мы с ним стали мгновенно неразлучны. Он с первого дня уже не упускал меня из виду. Если я уходила, волновался.

Да и попробуй уйди от него, чтобы он за тобой не проскользнул! Он каждый раз поддевал (и с завидной напористостью!) дверь и каждый выход из комнаты для нас обоюдным стал таким испытанием на прочность.

Он прижимался к стеклу, увидев, что я от него (и даже пускай ненадолго!) ухожу. Он колотил по балконному стеклу. Хотя на балконе ему на самом-то деле хорошо! Восьмой этаж, и сурикат у окошка застывал, обозревая городские унылые окрестности.

Ну а потом появилась у нас Рита. И начала очень звонко верещать. Верещать, верещать и верещать. Она верещала, пока не заполнила своим верещанием пространство. А освоившись и наполнив комнату своим верещаньем, замолчала. И с тех пор она всегда только по делу верещит.

Ну, вы поняли, что у меня дома живут два суриката. И я решила вести дневники наблюдений за их жизнью – в доме, недалеко от которого сохранилась моя школа, в которую я заниматься ходила когда-то давно аккордеоном.

А почему не гитарой, а именно вдруг аккордеоном? Люся, старшая мамина сестра, играла в семье на аккордеоне. Аккордеон в ее руках себя легко чувствовал, он «дышал» в ее руках.

Басы Люся брала глубоко всегда и сочно. Человек с аккордеоном притягивал! И мама моя не устояла и записала меня в

кружок к нашей учительнице музыки в школе, Светлане Тимофеевне.

Мы занимались с ней после уроков в ее классе. Я доставала из футляра аккордеон, а он такой глянцевый, блестящий. Ремни на нем, будто лямки рюкзака. Аккордеонный запах, такой одеколонный немного, он заполнял собою ну просто мгновенно помещение. Ты подбородочком о краешек корпуса уткнешься.

«Меховедение» – это была первая глава из учебника. За ней уже сразу глава – «аппликатура».

Светлана Тимофеевна мне, сидя у пюпитра, командовала: «А теперь, Юля, внимание: затакт!» Или: «Запомни, это меченый бас!» (а как черная пиратская метка прозвучало!)

В воображении своем Светлана Тимофеевна аккомпанировала (ну кто бы сомневался, конечно!) Джо Дассену. Ну, или там Иву Монтану. Или Шарлю Азнавуру.

Аккордеон во время исполнения ею «*Sous le ciel de*» или «*Joli mai*» сиял. Она сама переложила для аккордеона знаменитое «*Salut*» Джо Дассена.

«Белла, чао» – эту знаменитую песню итальянских революционных повстанцев со словами: «Прощай, дорогая моя, и грустить сейчас не надо, я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан...»

Эту песенку у меня на пластинке пел Дин Рид. И он там в такой яркой гавайской рубашке на обложке.

В его исполнении мне нравилась еще знаменитая кубинская песня «Гуантанамера». Она меня буквально укачивала. И я уплывала из нашего располагавшегося на первом этаже музыкального кабинета на волнах.

И удивительно, что я вот почему-то запомнила именно наши вечерние и почему-то вот именно зимние занятия. И вот этот пустынный коридор. И вот этот морозный школьный двор. И он тоже ведь зимой такой аккордеонный немного: черный, темный...

Зимою я ходила еще заниматься на лыжи – беговые. У меня были лыжи фирмы «тиса». И к ним прилагались еще лыжные мази – фирмы «висти».

И старый слой этой пахучей парафиновой мази мы обычно смывали скипидаром. И ладони у меня постоянно зимою все пахли и пахли скипидаром. И к запаху аккордеонных мехов, если занятия

попадали в один день, примешивался этот скипидарный и едкий лыжный привкус.

Ну а причем здесь сурикаты вообще, да и причем здесь вообще аккордеон? А все здесь, рядом. Аккордеон я достала с антресолей. Я сейчас достала и лыжные ботинки (надо смазать!).

И мне нравится аккордеоном дышать, я до сих пор достаю его с полки – подышать. Я развожу чуть тягучие меха. И аромат он до сих пор не выветривается – стойкий.

Сура переключает на аккордеоне регистры. Басы на левой половине аккордеона, как кнопка на кончике Ритинового носа.

И я действительно решила начать вести дневники наблюдений за их жизнью. И на первой странице написала, что сурикаты заняли мгновенно окно. У меня в комнате большое окно. Как ни проснусь, а сурикаты вплотную у окна. С утра пораньше они уже на подоконник у меня по креслу залезут – оглянуться. И вдруг потянутся выше-выше-выше. Передними лапами они обязательно застучат, заколотят по стеклу.

Они смотрят на капли дождя в серый день. И на дым теплосетей. На полосы в небе от пролетевших над нами самолетов. На огоньки от этих же самых самолетов.

А в листопад они попытались однажды дотронуться до налипших к стеклу листьев. Во дворе пересчитали ворон. Они смотрят на припаркованные во дворе у нас машины.

Они как две поглощенных вниманием пирамидки (правда, с выпяченными вперед животами). Я на улицу уйду, а они меня выглядывают. И я спиной это чувствую: выглядывают! Как все окно они проглядели, продышали в стекле дырку.

И я признаюсь, что это наше волнение взаимно. Потому что когда сурикатов привезли и когда они появились у меня, меня настолько это тоже тогда взволновало и растрогало, что померещился у порога на коврик песок. И не с ботинок просыпанный, а что его намело вдруг внезапно захлопнувшейся дверью.

И комнатная температура повысилась. И воду на кухне я стала мгновенно экономить. И приготовилась жить с того дня в уже очень и очень сплоченном коллективе (а сурикаты сплоченные животные!). Пусть со своими какими-то песчаными бурями, страстями.

И вдруг они оказались у меня на застекленном балконе в Бирюлево. Девочка в Вологде родилась и мальчик он тоже домашнего вольерного разведения, из зоопарка.

Но я в них чувствую этот другой континент, географическую обособленность и избранность. А они во мне чувствуют только московский район Бирюлево Восточное или все-таки что-нибудь другое?

И тут надо сказать, что у меня дома живет еще парочка попугаев – благородных. Да, вот вы только представьте – благородных! И когда я всем говорю при знакомстве, а я всегда всем говорю при знакомстве, что у меня живет эта парочка попугаев – благородных, то все думают, что это я их заранее нахваляю.

Ну, то есть что это такая черта их характера, то есть благородная конечно черта. Да ни черта! И благородные они исключительно только по названию. Это всего лишь красивое название. Попугай действительно благородный, я не скрою. Или эклектус, как еще он зовется на латыни.

И я уж с ними хлебнула благородства! Не каждому из попугаев везет с таким вот имечком. Ведь ты им слова поперек не скажи – им, благородным! Они тебе в ответ намекнут о твоём (и простом!) происхождении.

К тому же, это единственный вид попугаев, в котором мальчики разительно отличаются от девочек. У попугаев ведь с определением пола все непросто.

У волнистиков это можно понять по восковице, по синему или розоватому цвету восковицы. А у остальных попугаев, включая крупных жако и какаду, дело может дойти до консультации специальных ветеринарных врачей и орнитологов.

А у благородных с определением пола очень просто: мальчик он весь такой изумрудно-зеленый, но с вкраплениями синего и красного. А девочка, она вся такая пурпурно-малиновая, с синим. И глаза у нее тоже в такой небесного цвета обводке, в окаемке.

И она на меня часто смотрит, глаз не сводит. Или она зажмурит глаза и ко мне прижимается щекой. И когда она вот так вот прижмется, покраснеет.

Хотя мне сложно понять, когда у меня Тая краснеет, не краснеет. Потому что не голова у нее, а какой-то маков цвет. И она полыхает от румянца, как барышня, которая заливается краской от смущения.

Одна щека у нее это нежная ланита, которую постоянно воспевают поэты и говорят, что ланиты эти «рдеют», а другая вся разгоряченная, как правило, все разрушающей деятельностью, пышет.

А почему разрушающей? Да потому что Тая у меня недавно взяла и разгрызла холодильник. Она добралась до самой сочной прослойки пенопласта. И было видно, с каким она его удовольствием жевала.

«А почему у вас такой изгрызенный холодильник? – спросил мастер. «Это Тая, Тая!» – я, как смогла, объяснила пришедшему ко мне холодильному мастеру Олегу.

Но он все равно ведь почему-то решил, что уверен, что это я. Временами, видимо, сижу на диете и от горя вгрызаюсь в холодильник. Не поугай у меня дома живет, а Терминатор.

Тая из книг у меня выдирает все время корешки. Она доберется до этой домотканой и с ниточками, чтобы со слоем от старого канцелярского клея, книжной корки. Она странички во рту разжует, как разведчик полученную шифровку из центра, потом сплюнет.

И еще Тая обтесывает ветки. Я приношу ей из парка много веток (когда идет обрезка деревьев). И она эти ветки грызет и заостряет их все время на кончиках, как клинья. И может быть, у меня Тая бобер, а дом хатка?

Она грызет сейчас деревянную форточку на кухне. И клюв погружается у нее очень мягко и нежно в древесину, как в заготовку, когда ложку из дерева режешь, ложкорез.

Лексус (а это мой второй благородный) стучит клювом. Он обожает у меня, это правда, стучать клювом. Для него это что-то вроде такого звукового протеста, возмущения: «ну я же тебе говорил!» И – дыщ, дыщ, дыщ! – он по столешнице клювом колотит энергично.

А клюв у Лексуса оранжево-красный и с горбинкой. У поспевающих перцев болгарских такой цвет. И он постоянно еще ко мне пододвигает тарелки этим клювом. Как во время спиритического сеанса, их сдвигает. Он пододвинет тарелку до края, потом скинет, долго смотрит.

Я выкормила его «со щенка», то есть со птенца, и его охватила сейчас по-видимому благородная и благодарная страсть меня подкармливать.

Он прилетает ко мне и садится привычно на плечо. Он делает клювом такие немного поплевывающие движения и подталкивает ко мне клювом поближе кукурузу, эти сладкие и от сока полопавшиеся зерна.

Кукуруза вся обмусоленная Лексой. Ну и я ее, конечно, выплевываю, что делать. Ну а он возмущенно стучит клювом. Он не понимает, как можно от кукурузы (когда она тем более в початке!) отказаться.

Он держит ложечку в клюве и стучит тоже ею по стакану, как лектор, требующий очередную минуточку внимания. Он этим клювом у меня все время измельчает или нарезает морковку (очень ловко!).

И он замечательный у меня миксер конечно, кофемолка (когда он пережевывает не перемолотые кофейные зерна). Ну и он соко конечно выжималка (сок течет из надкусанной дольки апельсина).

И еще тут вместе с нами волнистик живет, Петр. Он мне достался от его говорящих родителей когда-то. И на бумажке, которую мне тогда передали при продаже, был заранее перечислен весь семейный словарный запас его родни.

Всех этих Петиных каких-нибудь там теток троюродных и прабабок. И не скажу, что б это был прям словарь Ожегова, но на двух моих вырванных из школьной тетрадки листочках поместилось.

Правда, Петя поначалу молчал. Вот он молчал. И мне предстояло еще перед ним этот список весь озвучить. С его наследственным словарным запасом.

Достаточно стандартный набор: «Петя, Петя, скажи, что ты красивый!» «Петя, Петя, скажи, что ты мальчик!» (Петя – мальчик).

И я повторяла перед ним эти фразы три недели. А потом, то ли этому поспособствовала моя врожденная артистичность и настойчивость, то ли у Пети действительно оказались очень талантливые гены, но он в какой-то момент заговорил.

И вот с тех пор он вообще не умолкает. Он тарахтит, как стационарная радиоточка – в Зазеркалье. У него клетка, его любимая клетка, она вся обвешанная зеркальцами. И он беседует с десятками своих отражений постоянно. С ними спорит.

Он выгораживает передо мною своих благородных приятелей-разбойников и постоянно у меня тоже над ухом талдычит: чик-

чирик... Когда Тая оборвет занавески. Или когда она отгрызет у меня на рубашке все-все пуговицы.

А Тая любит разгрызть и пощелкать мои пуговицы. Она долго мусолит в клюве пуговицу, как мы в детстве кончик от шариковой ручки когда-то.

При ее любви ко всем этим столярным киянкам и рубанкам я бы сосватала ее на уроки труда в школу. Лексуса могла бы отдать в ресторанчик на время, там су-шефом.

Но не откажусь не от кого никогда! Нет, никогда! И пусть разгрызенные бумажки летят сейчас повсюду.

И из недавно разгрызенной Таей книги китайских гаданий промелькнет, это Книга Перемен, что стойкость – и здесь сейчас внимание, ребята! – это «к счастью».

Что под елкой спрятано

Рита сейчас прильнула к окну, и она стучит лапами всегда по стеклу, когда что-нибудь интересное увидит.

Суручка стоит, замерев. А иногда закачается как маятник. Он иногда закачается, как маятник. Он покачивается вперед, а потом чуть-чуть назад. Чтобы пятки от долгого стояния на посту не затекали.

А увидит чего-нибудь за окном, заверещит. Рита верещание своего любимого мальчика услышит. И у нее мгновенно будет сопереживающий и сосредоточенный взгляд и шевелящиеся на носу от волнения полукружия.

У сурикатов на их черных ноздрях есть такие, как будто бы от помады, полукружия. И этот розовый ободочек он почему-то вот больше заметен на черном носу Суры.

Розовый «смайлик» под носом взволнованно и с усердием шевелится, когда Сура к чему-нибудь принюхивается. А сегодня ведь есть к чему принюхаться! У нас выпал сегодня зимою первый снег!

Сурикаты наблюдают за дворниками, которые утром счищают с крыши снег. Дворники машут огромными и широкими лопатами. И снег с крыши летит. И как будто бы снова снегопад.

Снежинки иногда по пути залетают и потом еще налипают к нам на окна. Лексус, как будто поклевывая их, все стучит по оконному стеклу. Сам зеленый, он похож на разбушевавшуюся елку.

Перед Новым годом я как раз принесла с базара елку. Сурикатам удивительно было наверно почувствовать колючесть.

Загорались напротив нашего кирпичного четырнадцати этажного дома огоньки и отражались – зеленые, желтые, красные – в глазах удивленных сурикатов.

Соседи во дворе несли елки, и макушки зеленые качались. Елки кивали головами друг другу, ну а люди не кивали. Перед Новым годом так пахнет везде вкусно!

Глаза у сурикатов, и у Риты особенно, внимательные. Хотя Рита поменьше Суры ростом. Но ведь это не значит что слабее! Голова ее на уровне Суриного плеча, и она смотрит в мерцающее огоньками окно самозабвенно.

А я недавно все любовалась на Суру. Мне нравится, что в его взгляде есть оценка. Он анализирует всегда пристальным взглядом обстановку. И у него не заискивающий взгляд. Заискивающий это когда он ко мне ластится. А когда смотрит в окно, то взгляд серьезный.

И вот сурикаты у меня встали сегодня на подоконнике и замерли. И я стою вместе с ними и не понимаю: что случилось? А это инеем покрылись деревья! Все сверкает.

Золотые крупиночки снега на деревьях напоминают сурикатам наверно сверкающий в пустыне песок, они взволнованно щурятся на солнце.

Зажгла свечи сурикатам сегодня, они смотрят. Я не показывала сурикатам до этого зимнего вечера огонь, я берегла это таинство до времени. И вот сегодня зажгла. И Рита смотрит. И сколько воска у нас уже на тарелку-подставку натекло!

И я достала гирлянду с антресолей. На ней лампы уже какие-то не горят, поизносились от времени, перебинтованы синей изолентой. Но я для проверки зажгла и у меня, конечно, нашлась только одна восторженная и благодарная зрительница – Рита.

Она следила, как меняются на новогодней гирлянде огоньки. Ах, как меняются на новогодней гирлянде огоньки! Когда видны все эти разноцветные отблески на окнах.

И в елочный шар у меня Рита, конечно, заглядывала и отражалась. И накануне мы окна утепляли.

Правда, мои пустынные мудрецы не поняли все же смысл происходящего. И пока я тщательно затыкала все эти ленточки поролон во все щели, они их не менее тщательно вытаскивали. И



это был очаровательный труд! Мы дополняли друг друга гармонично.

При этом Рита умудрилась выскрести из-под оконных щелей столько мух! Неимоверное количество мух! Давно засохших уже, мумифицированных. Сколько веков, сколько зим они у меня незаметно меж стекол пролежали!

И еще она достала из окон клочочки потемневшей уже тоже от времени и пыли старой ваты. Ватой многие окна тоже когда-то утепляли. Или ватой или узкими поролоновыми ленточками. Вату нащипывали из такого большого рулона по куску.

А сколько ваты, помимо будничного утепления окон, мною было в детстве отщипано на «снег»! Клочочки ваты изображали на ветках елки снег. И с мишурой эта вата тогда еще перемешивалась, с блестками.

И была живая елка в ведре. И коробочка от искусственной елки сохранилась. Волнистик Петя еловые веточки (у живой елки) жует. «Что под елкой спрятано?» моя любимая песенка из детства.

Окна в комнате у меня не современные, как на застекленном и утепленном балконе, окна старые и дышащие. Со сквозняками и с зазыванием ветра, с дребезжанием.

Со стеклом, в которое я утыкалась зимой и оттаивала на серебряном инее круги. А теперь сурикаты к этим окнам приникают и прилипают носами и оттаивают. Подоконник нагрет от батареи. Хорошо распластаться на нем и уткнуться в стекло носом.

И вспоминаются еще сейчас деревенские окна в Псковской области. До возвращения в Москву я прожила еще какое-то время в Псковской области.

И у нас там было много домов и много окон. С растрескавшейся оконной замазкой (этой замазкой на окнах всегда обрабатывали щели). И рамы на стеклах там были подбиты такими малюсенькими гвоздиками.

Дороги во всех этих наполовину уже заброшенных деревнях по колено стоят в дубовых листьях. И ты идешь по колено в этих листьях. И забивались там опавшими листьями канавы.

На подоконниках крынки в паутине. Стояли старые и уже давно замолчавшие будильники. И мы эти будильники иногда из-за любопытства заводили и время, застывшее на циферблате когда-то, начинало снова течь.

А сколько мы находили в домах пуговиц! Они звенели в жестяных коробочках, банках из-под леденцов монпансье. Или в банках из-под индийского и тоже очень старого кофе (растворимый).

И много пуговиц хранилось в обычных, уже таких картонных коробках, вместе с нитками. Кто-то шил, шил и, дошив, просто нитку надкусил. И иголочка тут же рядом будет воткнута.

Много было пуговиц лесничих – две перекрещенные дубовые веточки. Много было знаков отличия с кителей и плащей железнодорожников, нелюдимых обходчиков путей, бредущих по заросшим лесным узкоколейкам и постукивающих специальными колотушками по шпалам. Но их форменные мундиры сейчас в шкафах уже давно все пропахли нафталином.

Нашли фонарь железнодорожный, сигнальный, очень старый. Нашли тетрадь с перечислениями деревенских работ. Там все чернильные записи расплылись. И только одно ты там все время читаешь: «возил лен». И через пару страничек: «возил лен». И бесконечно и бесконечно: «возил лен». Лишь иногда там попадались уведомления о появлении первых проталин весной, жаворонков.

Была запись, что «прекращается езда на санях». И потом снова: «с утра до вечера возил почту», «пас коров». Ну, или там «грабил на грабилке», «плугарил»...

Мы эту деревню случайно нашли на гугл-картах. Деревня вся травой заросла. Космонавт с неба смотрит на заросшие и обвалившиеся крыши.

Внедорожник остановился однажды перед нами и из машины вылезает мужик. Кулачища здоровые-здоровые, свитер старый, рванный.

«А вы куда? На охоту? На рыбалку?» – «Да мы вот как бы путешествуем тут, – мы отвечаем. – И, кстати, а вы нам, заодно, не подскажете: а как нам на речку здесь проехать?» – «А вы давайте-ка сейчас поезжайте за мной» – он отвечает. Мы поехали.

Сосны чередовались в лесу с уже вовсю зацветающей черемухой. И как это здорово, когда ты в лесу с расцветающей черемухой! И вот этот дядька приводит нас к реке. Мы полюбовались заросшими напрочь берегами. И сваями моста реки.

Нам этот дядька сказал, что по мосту когда-то здесь дорога была. Далеко она вела. И местные жители чужих всегда по походке узнавали. Издалека, сказал этот дядька, узнавали.

И мы поняли, почему этот Лёня из Хахалево нас узнал (а он сказал, что его зовут Лёня и что он сам из деревни Хахалево): ведь походка у нас, и это уже, к сожалению, не скроешь, городская.

Этот дяденька очень бережно прятал сзади руки, чтобы лишний раз не напугать нас кулаками.

Рукомойники были подвешены когда-то здесь в каждом саду на старой яблоньке. Когда ты крышечку снял, воды налил. И пимпочка, которую ты ладонью поддерживал и «вызывал» из рукомойника воду, застревала.

Мыло было тоже в саду у всех припрятано. Хотя все равно его сороки растащат, но припрятано. И, наверное, в каждом саду у сорок есть запасы из этого разошедшегося старого дачного душистого мыла и обмылков, растрескавшихся белых, желтых и розовых кусков.

В знаменитый Пушкинский заповедник, который здесь находится рядом, в Псковской области, посреди этих оставленных деревень, я впервые попала в третьем классе. Ну и я тогда ничего не запомнила, конечно.

Но мама мне купила альбом – иллюстрированный рассказ с фотографиями: яблоки на письменном столе Пушкина, его черновики, его трость. Его любимая дорога вдоль озера. На подоконнике кот, потомок того пушкинского кота.

Эта книга была книгой хранителя и многолетнего директора Пушкинского заповедника Семёна Степановича Гейченко. И он в ней приводил стародавние советы: «Простудился, пожалуйста принять кленового соку с парным молоком или взвару из цветков дикой заячьей капусты».

Ну а уж сколько там было фотографий! Синее бездонное небо, а через пару страниц уже чернейшее (потому что собиралась гроза). И костер рыбаков на берегу. И желто-синим цветет у этого ночного костра иван-да-марья. И нигде я не встречала потом ни иванов таких, вот именно таких очень ярких, желто-синих, ни таких марий.

Река во время разлива иногда подступала под усадьбу. И рыбаки иногда оставляли тут же лодку. Чтобы отплыть, ты просто тихонечко оттолкнешься от ступенек, которые ведут на парадное крыльцо.

И я всегда знала, рассматривая все эти фотографии в книге, что вернусь. И вот к этим иванам-да-марьям. И к этой лодке. И к доске, через лужу перекинутой. И даже к этим каплям дождя, расплывающимся на иссохших досках дома.

И я, конечно, вернулась! Да, вернулась! И даже пожила на усадьбе прям – в амбаре. В амбаре из обтесанных валунов. Во времена Пушкина и даже после него в подобных амбарах из обтесанных валунов хранили лен. И в десяти шагах от этого сарая-амбара была Сороть...

И я должна была подметать по утрам в саду дорожки. И чистить ряску в пруду, вылавливать ее металлическим круглым сачком на длинной жерди.

И мне эти занятия нравились! Да, нравились! Граблями водить по земле, оставляя волнистые линии от зубчиков. Сбирать в старом яблоневом саду опавшие осенние яблоки и листья.

Процеживать ряску в пруду. Пруд был подернут зеленым и толстым слоем ряски. А зачерпнешь и потревожишь ее и образуются черные воронки. От торфяной настоявшейся воды.

Поближе к августу, сентябрю жгли в парке листья. Дым обвивал обросший лишайником забор. Вымахивали за забором люпины, мы косили. Семена люпинов напоминали скорлупки от фисташек.

И у меня, разумеется, был наставник на этих замечательных садовых работах – Одиссей. И удивительно, что я вот все же узнала его имя. Потому что он все время молчал. Вот он молчал. Вода в пруду, пока он вот так вот молчал, после того как почистишь, уже успевала по-новой заплывать ряской!

Ну и я вот однажды спросила его имя. Ну, хотя бы имя. И Одиссей мне, наверное, один-единственный раз и ответил: «Одиссей». И как потом оказалось, Одиссей – чемпион Пушкиногорского района по шахматам. Вот так-то!

Профессор ботаники Ганнибал, да, да, да, вот тот самый Ганнибал, из потомков знаменитого прадеда Пушкина африканца арапа Ганнибала, мимо нас ездил на велосипеде за молоком.

На лугу, пока мы ворошили с Одиссеем траву, пасся конь Герман. А на узкой и заросшей ежевикой тропинке на усадьбу я повстречала однажды балерину и, разумеется, также московскую дачницу – Истомину.

И балерина Истомина – «полувоздушна», как и написал о ее теске когда-то поэт Пушкин, действительно танцевала в кордебалете цирка на проспекте Вернадского в Москве. А приезжая сюда на лето в деревню, жила у нашей общей деревенской знакомой тети Маши.

Отчество одного из заместителей уже нового директора заповедника, не Семена Степановича Гейченко, по административной работе было – Андрей Эльфович (где «эльф» это сокращение от слогана «электрификация страны»).

Но многие с удивлением переспрашивали, пересекаясь с Андреем Эльфовичем по методической или по какой-нибудь просветительской работе: «А это правда, что папа у вас – эльф?»

И символично, конечно, что в дорогу после той первой, еще моей школьной поездки в третьем классе, мама дала мне фотографию женщины – Райсы. По фамилии, и я как сейчас это помню тоже – Рык.

«ЗАРЯЖЕНО!» – было крупно написано на фотке. «На любовь. На взаимность. На удачу. Плюс – гарантированная сохранность овощей!»

«А я живу здесь на поляне Поэзии, зайдешь?»

Дорога долгая была в заповедник: едешь, едешь... И у кого-то начинается день, на который можно долго смотреть сквозь образовавшийся на широком стекле иней.

Над полями, пока ты проезжал на автобусе, поднимались вечерами туманы, пробивалось утром солнце.

Топились печки, и поднимался зимою над крышами дым в домах из труб. И те дома, которые меня огоньками по дороге зимою под утро встречали, не забуду.

Пятиэтажки, уже здесь на месте, мелькали в садах и огородах. Гаражи на огромной сосновой аллее деревянные. Потом турбаза с балкончиками из бетонных серых плит.

Дымка тумана, рассеивающаяся под утренним солнцем поверх озера. Ласточки, снующие у тебя под ногами на асфальте. Были бы у них в клювах тогда нитки, и ты стал бы весь переплетен.

А там и лесная дорога на Михайловское. Когда видны только сосны, сосны, сосны. И тебя закручивает во все эти верхушки с головой.

Милиционеры дежурили вечерами на усадьбе. Милиционеров, когда я приехала, на усадьбе было двое. И это были не такие, как сейчас, все из себя ну прям такие охранники-охранники, а это были слоняющиеся и наслаждающиеся размеренным течением жизни постовые, мирно шаркающие по вечерним и усыпанным гравием

дорожкам, освеженные поднимающимся сюда наверх от низины холодком.

Они подбирали опавшие яблоки и пробовали. Они смотрели во время дежурства вниз на речку. Как рыбаки распатронивают удочки. Они успевали следить и за промелькнувшей блесной и поплавком. Они переговаривались от нетерпения и ожидания улова с рыбаками.

А рыбаки на рыбалку торопились. Шины их старинных велосипедов рассекали еловые аллеи, не успевая завязнуть в песке и долбасясь в вечернем тумане по корням.

Кончики спиннингов на подсвеченной цветочной аллее задевали бутоны наклонившиеся (спиннинги были прикручены к рамам). А как вечерами на этой цветочной аллее пахли флоксы! И цвел еще душистый табак (а табак это такие цветы).

Валентин Анатольевич, это местный известный художник, выходил смотреть на звезды. Миллионеры при встрече всегда пожимали ему руку.

Валентин Анатольевич был в тапках. Он по аллеям гулял в домашних тапках. Потому что он считал здесь все аллеи и парк продолжением своего удивительного дома, располагавшегося тут же и совсем недалеко от усадьбы, на окраине поляны Поэзии. Вот да!

И при Семене Степановиче Гейченко на этой поляне была почта, на месте этого старого дома. А потом эта почта не понадобилась. И пока помещение этой старой и маленькой почты не снесли, там и жил наш Валентин Анатольевич.

И я помню, как прозвучал его адрес, когда мы с ним в первый вечер познакомились: «А я живу здесь на поляне Поэзии, зайдешь?»

Окно у него с видом на эту поляну Поэзии было почти всегда открыто. На подоконнике летом обычно стоял магнитофон. Сейчас я попробую вспомнить название: «Романтик»?

Зажеванную пленку Валентин Анатольевич распутывал. Как это водилось тогда, карандашом. И над поляною разносились все время и то и дело постоянно сменяли друг друга «Времена года» Чайковского, Вивальди...

Валентину Анатольевичу еще нравилась такая певица – Смольянинова. И особенно романс в ее исполнении «Я ехала домой», в котором Смольянинова произносила эту первую строчку всегда немного кокетливо и нежно. И голос у нее такой тонкий! Тонкий-тонкий.

«Динь-динь-динь» Валентину Анатольевичу тоже нравилось («В лунном сиянье»). И еще одна старинная народная песенка из репертуара Евгении Смольяниновой – «Ах, боже мой, что делает любовь».

Евгения ее пела так, как ее научили в фольклорных экспедициях. И, например, она вместо «кусты» произносила намеренно «кюсты»: «среди кюстов сиреневых полей». Весною в наших клокочущих токующими соловьями садах это было конечно актуально.

А гуляли мы с ним как-то в лесу – Валентин Анатольевич, конечно, в своих любимых тапках! – и вдруг он меня останавливает и показывает на ярко-оранжевый и похожий на раковину гриб. И говорит мне с нескрываемым восхищением: «Пецица!»

И вот он ел у нас и вот эту пецицу и кислицу. И это именно он научил меня ранней весною тушить папоротник, его молодые побеги с завитком. Не распустившиеся, эти побеги похожи на локоны пушкинских красавиц.

Профессор ботаники Ганнибал заваривал лесные чаи в своем прокопченном котелке. Марик, тоже местный известный художник, керамист, весною здесь варил одуванчиковое варенье. Килограммами, гектарами! Кастрюля желтая у него всегда становилась после варки.

Побеги сосен мы тоже еще весною варили (витамины!). Собирали крапиву и сныть среди вспышек цветущего декоративного лука в огородах: лук цветет и он похож на сиреневый салют.

Валентин Анатольевич собирал и сушил весной черемуху. И меня ее сушить научил. И я сушу. Первого марта, пока еще снег не растает, все достану. И заваренная черемуха у меня остывает долго в кружке.

Да, чего мы здесь только не сушили! Мы сушили, тушили, не тушили! «Суши весла!» – кричал Валентин Анатольевич рыбакам.

Он мне отдал, когда мы с ним познакомились ближе, свой этюдник. Чтобы меня принимали за художника. Ну а меня почему-то всегда принимали за электрика. Будто бы с этим деревянным ящиком инструментов, а не красок, я иду чинить оборвавшиеся, как это у нас часто бывает, после ветров, ураганов провода.

Валентин Анатольевич хранил старый списанный инвентарь со всей усадьбы. Все эти давно одряхлевшие таблички. Штакетник,

посеребранный разросшимся курчавым лишайником или заросший густым зеленым мхом.

Все указатели уже давно обветшали и разошлись, не понимали: а почему и зачем их называли тут вдруг – «аллея Керн»? Но их Валентин Анатольевич хранил. У него был приют для таких вот табличек-стариков. Для старых урн (а они деревянные, и деревянные сейчас давно уже не делают).

И кору он от деревьев хранил. Со всех деревьев. Как художник, как он мне объяснил, он давно отошел уже от красок. Он не рисовал, а собирал по окрестностям кору, которая сама по себе, как считал наш Валентин Анатольевич, картина.

И на этих картинах его из коры можно было всегда разглядеть летящий снег. Ну, или там клин журавлей. Или представить осоку у берега, калитку.

Кору Валентин Анатольевич снимал с буреломом поваленных деревьев. И на обороте всегда обязательно подписывал, что, мол, вот эта сосна или вот эта береза упали в таком-то году и там-то, там-то.

И деревья все знали уже, что он их поименно сохранит и не даст им пропасть не помнящими ни родства, ни корней своих иванами.

Зимой наш Валентин Анатольевич топил печку. Его почта была еще с печным отоплением. Как и многие музейные помещения (до конца 1970-х годов). И половина деревенских старушек переработала в заповеднике смотрительницами и заодно, пока длился отопительный зимний сезон, истопниками.

И вот наш Валентин Анатольевич топил печку. И хотя у него с переизбытком всегда хранился под навесом штакетник – по пролетам (Валентину Анатольевичу приносили этот изношенный и выпавший из общего заборного ряда штакетник прям пролетом, прям как он завалился в кусты, одряхлев, так несли) он все равно этот штакетник хранил и переплачивал за покупные дрова. Хотя мог бы уже давно его раздербанить на растопку.

Вместо стульев у него стояли пеньки, стол был срезом старой пушкинской ели (и она еще помнила Пушкина конечно). Чайные ложки у него были резные – можжевеловые.

Вечерами он нам показывал слайды: паутину на своем любимом заборе, мох и иней. А если его не было дома, то мы ему оставляли записки на обратной стороне садовой таблички с этой надписью через трафарет – «аллея Керн».



Борис Константинович, когда сюда приезжал, тог он постоянно засушивал здесь травы. А жил в палатке на противоположной окраине Михайловского, где Герман (на хоздворе, недалеко от конюшни, там, где Герман).

Герман вышагивал утром пастись на поляну Поэзии из конюшни, Борис Константинович раздувал свой с намокшими углями костер (иногда были долгие дожди).

Он промчится на велосипеде за молоком и пахнет дымом. И все его травы пахли дымом. Травы он перекладывал газетами. Или икотник или там мышинный горошек или спорыш. Цикорий у него был переложен газетой – ее кто-нибудь помнит еще? – «За рубежом».

Дождь пойдет, и Борис Константинович побежит убирать и сушить свои газеты. Стучали крупные и тяжелые капли по газетам, если Борис Константинович не успевал их попрыгать под навес.

И вспоминаю еще одну его удивительную фразу, которую он мне обронил по дороге из усадьбы, когда мы шли с ним через заросший полевыми цветами и нескошенный еще (а скашивают у нас обычно в июле всегда) луг.

Он сказал мне, что цветки синего цвета в гербариях, как правило, всегда сохраняются мало – выцветают. Это он про горечавку, люпины. И даже может быть и про анютины глазки, василек.

Валентин Анатольевич у нас тоже всегда собирал и сушил потом цветы. Незабудки, они у него всегда хорошо получались, и фиалки. «И я фиалки собираю обычно по средам!» – он шутил.

А про незабудки напевал из песенки по Дорожному радио в приемнике: «Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше чем года»

И вот уже Валентина Анатольевича нет, он уехал на родину давно (он сам с Урала), а незабудки и фиалки в его бумажных альбомах нам остались.

Валентин Анатольевич засушивал травы аккуратно. А потом на картонку их наклеивал. Разглаживал, чтобы они хорошо получились, утюгом.

Какую книгу у него, я помню, тогда с книжной полки ни возьми, обязательно выпадет цветок. Тот самый, о котором и у Пушкина говорится – «безуханный».

Валентин Анатольевич любил еще ночные костры. Чтобы с отражением костра на реке. От его дома можно было легко спуститься к Сороти.

И не могу пока понять до сих пор, что же чувствовал здесь окруженный корнями растений и своими родными корнями Ганнибал.

И не могу найти фотку пока, на которой художник Валентин Анатольевич у своего ночного костра сидит в берете.

### Корни кубышек

И вот так вот я на усадьбе жила и жила в своем амбаре. И это сейчас он такой весь расчищенный и вылизанный. А когда я жила, то в нем обычно хранились лопаты, грабли, вилы.

Через стенку можно было послушать экскурсию над ухом. Ну, то есть все эти заученные строчки:

*Господский дом уединенный,  
горой от ветров огражденный,  
стоял над речкою. Вдали...*

(и это «вдали» от меня тогда было в двух шагах!)

По утрам в музее выбивали половички. Смотрительницы вынимали из ящичков или синего или серого такого мышинного цвета безразмерные войлочные тапки. Ведь я застала еще эти самые войлочные тапки. Но нас иногда в музей еще пропускали без тапок, как своих.

По всей усадьбе были расставлены валуны на видном месте. И они часто служили как табличка. Такой валун-указатель. Был валун, на котором была выбита строчка из стихотворения Пушкина про «дорогу, изрытую дождями».

И не забуду, когда один такой камень в половодье тоже с процарапанным на нем и прописанным черной несмываемой краской поэтическим четверостишием из Пушкина, из-за разлива воды наполовину ушел почти под воду.

И все строчки тогда вместе с ним ушли под воду. И эти строчки тогда еще под водою расплывались. И получается, что камни захлеб читали Пушкина.

И еще мне все здесь постоянно говорили о Гале, о какой-то некоей Гале, которая играет на глиняной дудочке-окарина вечерами.

Мне о Гале рассказывал Марик, глиномес. Марик любит всегда говорить о себе: «я – глиномес» (хотя на самом-то деле керамист). Но в глиномесе чувствуется это разминающее глину руками, созидающее и творящее движение.

И сандалии у Марика и ладони были в глине. У него были глиняные колени, потому что он вытирал постоянно о них руки. У него была глиняная посуда. Глиняные кружки, в которые осенью наливалось вино – «осенней стужи друг».

У него глина хранилась в тазах, а тазы эти были во дворе. И осенью, когда осыпались деревья, то опавшие листья обычно всегда попадали в эту глину. И Марик ее обжигал.

Листья сгорали, но оставляли на глине отпечатки. И можно было по отпечаткам потом различить рябину, клен. Таким же образом Марик обжег, сохранил отпечаток ноги своего кота Банзая.

Мы продавали сувениры однажды в Тригорском, я и Марик. Мы поднимались «на скат тригорского холма», как писал Пушкин. И устраивались сидеть на жердях. Забор в Тригорском был тогда не штакетник, как в Михайловском, а здесь были толстые и такие обтесанные слег.

К нам выходили не занятые в музее экскурсоводы и подсаживались. И нам с холма далеко все было видно: как человек идет себе по дороге, исчезает (он исчезает ненадолго в низинке), появляется.

Ничего у нас не покупали, и мы только глядели тихо вдаль и слушали, как падают и падают желуди на крышу деревянной замшелой старой кассы.

И вот однажды я все-таки услышала эту пресловутую флейту. Когда Галя сидела у реки. Флейты были разложены на траве, и перед тем как играть, Галя каждую флейту продувала.

Сосны, они были все такие багряные на закате, так сияли! И звук флейты, и я до сих пор это помню, очень медленно разносился по реке.

Дно песчаное в реке, с переплетенными лентами из водорослей. Во время разливов ты отражение ветряной мельницы здесь увидишь, там.

Отпустили б по ветру ее стреноженные железными путами огромные мельничные крылья, и мельница перемолола бы и подняла бы из воды корни кубышек.

«У меня был в реке знакомый окунь...»

Мы продавали сувениры в Тригорском, не в Михайловском, потому что дома поэта, к которому мы, конечно, привыкли и возле которого мы обычно всегда продавали сувениры, на тот момент просто физически не было. Вот не было. Стоял дом, стоял – и его нет. Его разобрали тогда. Как объяснили всем нам, на реконструкцию.

И в это было сложно поверить. Очень сложно! В исчезновение дома, о котором когда-то писал Гейченко: «У этого окна любил сидеть Пушкин!» Все смотрели!

Или я помню еще известные его волхования, заверения: «Выйди за околицу дома, крикни «Пушкин!» и эхо оно обязательно тебе отзовется: «Сейчас приду...»

Летом стены этого дома были увиты разросшимся диким виноградом. Ласточки гнездились под крышей. Цветочная аллея была освещена фонарями. На крылечке просыхали половики и все такое.

Но что-то, наверное, все-таки было в этом доме, раз он, как отражение рыбацкого огня на реке, временами исчезал.

И выясняется, что не единственный раз. Потому что еще тот же Семен Степанович Гейченко рассказывал (а ему в свое время тоже добрые люди рассказали), как закладывали фундамент в очередной раз восстанавливаемого тогда дома поэта еще в 1908-ом году.

Гейченко пишет, что приехало важное начальство. Губернатор первый положил золотой по традиции в раствор, а вслед за ним золотые червонцы полетели в цемент уже горстями.

И теперь все, что так сверкает на солнце, монетка или заброшенная блесна рыбака или опавшие дубовые листья золотые напоминают червонцы из фундамента того самого исчезающего и исчезающего временами дома Пушкина.

И дом уже восстановили, конечно. Дом на месте. И по-прежнему по нему водят экскурсии, рассказывают: «А ну-ка поглядите-ка все в это окно, у этого окна любил сидеть Пушкин...» И все смотрят.

Семен Степанович Гейченко, восстанавливая Михайловское после войны, в очередную, как мы уже теперь понимаем, реставрацию, рассказывал, что истинный вещевед и музейщик обязательно должен перевоплотиться в героя, в хозяина

восстанавливаемой им сейчас усадьбы. Чтобы понять его характер до мелочей, изучить его привычки.

«Вот Пушкин пишет, – и Гейченко приводит пример, – «Люби сей сад с обрушенным забором...» (это из стихотворения «Домовому») И сам себя Гейченко спрашивает: «А почему Пушкин именно так написал, а не иначе?» Почему у него именно этот «обрушенный» забор?

И Валентин Анатольевич это чувствовал! Оберегая штакетник от забора. Этот завалившийся в кусты очень старый штакетник от забора. Через много лет уже после Гейченко и Пушкина.

А проверяя полы в доме Пушкина, Гейченко оказался однажды недоволен: «Половицы, – как он написал тогда в письмах, – не скрипят!» А для него было важно, вот для него это было именно важно, чтоб скрипели!

«Стул стоит вплотную возле пушкинского письменного стола. А если ты его чуть-чуть подвинешь, так живее»

«Пушкинский заповедник это книга, написанная вещами, – учил он. – Неодушевленных предметов здесь нет. И поэтому в нашем музее есть все. Камни. И яблоки. Звери, рыбы, птицы...»

В своих письмах Гейченко удивил меня перечислениями своего каждого шага: «Встал в 5.30 утра. Чайник на керосинку поставил. Неожиданно уронил портсигар. Заварил кофий...»

Он пишет о том, когда прилетели в Михайловское первые весенние птицы и когда улетели потом осенью. Как в дневнике того самого неизвестного нам деревенского и усидчивого жителя с его запылившейся и разбухшей от сырости тетрадкой.

Алексей, мой здешний деревенский приятель, мне рассказывал, как он однажды на восходе увидел, как пробивается из земли росток картошки. Как пробивается из земли росток картошки!

А когда ты забросишь блесну, он мне рассказывал, то образуется, и даже пускай на мгновенье почти, радуга! И эта радуга, как мне всегда говорил Алексей, в твоих руках.

Алексей родился недалеко от Михайловского, в деревне у Савкиной горки. А известно, что эту Савкину горку любил Пушкин. И может быть, когда он писал, что «Пора, мой друг, пора...», то имел в виду, что пора как раз на Савкину горку, к Алексею.

На Савкиной горке Алексей посадил золотые шары, с горы золотые шары тянутся к звездам. На Савкиной горке я впервые

увидела звездопад. Звезды любят падать именно на Савкину горку. На Савкиной горке провожает закаты пес Диван.

Мы выкашивали эту старинную горку с Алексеем. И Алексей говорил мне, что коса, что длина лезвия у косы измеряется кулаками обычно: «ты запомни!» И мы насчитывали: у Алексея коса была в восемь его кулаков, у меня в шесть.

Мы выкашивали с ним эту старинную Савкину горку за лето два-три раза. С горы вид на цветущую летом в полях у нас овсяницу! А овсяница это такая трава. И еще полосы мятлика, костреца и лисохвоста.

Рыбаки выкашивали тоже протоку в воде внизу у речки. Они выкашивали, чтобы могла пройти лодка. И зеленые водоросли всплывали. И их уносило и уносило течением, как рубашки лебедей из крапивы в сказке Андерсена.

Синие мотыльки из-под ног у нас выскальзывали. Пух от одуванчиков медленно-медленно улетал с Савкиной горки.

И Алексей он потомственный рыбак. У него дома и над дверью и на стене висят блесны. Блесны, блесны. Они погружены в квадратики поролона остриями или воткнуты в пенопластовые стенки. Коробка с блеснами у него изнутри пенопластом вся обита.

«Черноспинки», «варзуги» или «ложки» (эти «ложки» с крючками-тройниками). И отдельно лежат еще блесны, перешедшие к Алексею по наследству. Самодельные, переплавленные из серебряных ложек и латуни.

И все эти блесны уловистые. Про полетные качества блесны, про их склонность или несклонность к зацепам, Алексей все знает. Он перебирает и перебирает все время свои блесны.

Мы возвращались с ним однажды с рыбалки поздней осенью. Были размыты уже очертания берегов из-за тумана, холодная и скользкая рыба временами у нас колотилась в садке, сопротивлялась. И чернела вдали, как Голова из поэмы «Руслан и Людмила», Савкина горка.

«Щучий ветер...» – Алексей так говорит про погоду. И у него этот ветер всегда щучий.

Или он возьмет и расскажет мне историю: «У меня жил тут недавно в реке знакомый окунь. И я, подплывая, щекотал ему бок. Пощекочу один, а он – виль! – и другой уже подставит»

Мы пили чай под старой географической картой Алексея. Год выпуска этой географической карты очень старый и мир с тех пор уже очень сильно изменился. Но Алексей по-прежнему мне доставал из буфета печенье и варенье. И из прихожей у него пахло картошкой и не протопленной сыростью земли.

На подоконнике стояли стаканы с не выпустившим еще свои зеленые стрелки наружу, пузатеньким репчатым луком – купидоном. Так Алексей говорил мне: купидоном.

А после чая мы с ним выходили во двор – смотреть на лодку. И в урожайный год у него яблоки почти всегда осыпались в эту лодку (как и у Марика во дворе все листья в глину). И сладкие яблоки Алексей отбирал с собой в поход.

Как я радовалась, когда после бесчисленных просьб, а мне не с первого раза удавалось Алексея уговорить, он наконец-таки выходил со мной на лодке!

Он брал меня с собою семь лет, и каждый раз методично объяснял, что новичкам (а новичком была по-прежнему я) обязательно на рыбалке повезет, и что я ему как рыбаку приношу счастье.

Лодка у него была типа каноэ, и мы скользили на ней мимо желтых речных «роз» (Алексей так иногда называл эти всяческие водяные кубышки или лилии). И заполощется по днищу вода и будут касаться ее и скользить по днищу водоросли.

Я помню двор Алексея, он был облепленный рыбьей чешуей. Его большие болотные сапоги. Его какие-то консервные банки с крючками. Садки, весла. Удилища с качающимися и тончайшими верхушками (это они, наверное, задевали на цветочной аллее в саду ветки). И висел еще деревянный молоток. И Алексей называл его по-кошачьи как-то – «барсик».

А на столике во дворе у него стоял кувшин. И я, когда приходила к нему, то проверяла: а какой сегодня будет в кувшине букет? И каждый раз я находила в кувшине что-то новое.

Весною черемуху и сирень, а летом донник... Время менялось в кувшине, а мы только глядели из окна и перебирали то струны на семиструнной гитаре, а то блесны.

И Алексей мне рассказывал легенды (он собирал все окрестные легенды). Что на Змеиной горе (а у нас недалеко есть тут такая гора) жил когда-то древний змей. И питался он исключительно рыбаками, осмелившимися выехать на озеро.

И чтобы этого страшного змея извести, местному кузнецу поручили выковать огромного железного человека и посадить его в рыбацкую лодку. Кузнец выковал.

И в нужный день эту железную куклу на костре распалили, раскалили. Змей спустился с горы и проглотил этого железного человека.

От жара он начал извиваться, ушел на дно и в дне озера образовался провал. Зовется он «смородовый ключ» (по берегам растет сладчайшая красная дикая смородина).

Калачуха – это мелководный и неприметный залив на том же озере. Залив Шквырки – в этом месте стекает с холмов и «шквырчит» весной вода.

«Здесь ершей ловил, – мне это все рассказывал Алексей. – Ну и место зову теперь уже соответственно – Ерши. А вот еще один мой с детства любимый залив – залив Сиротка...»

В лесу Алексей показал гору Цыганку. О цыганах я прочитала когда-то в книге Гейченко. «Лагоды вес, добрый день, – сказал Пушкин, протягивая руку цыгану. – Лагоды вес, – ответил удивленный цыган и добавил: – Анатыр, туме, джанон ромено?»

Цыган застал в своем детстве Алексей. Цыганку со старинным кофейником, она приходила за молоком в его деревню.

И я тоже помню цыган. Они при мне подрабатывали в кафе. Посетителей в кафе было мало, очень мало. И чтобы себя как-то развеселить, цыгане иногда пели песни.

И я таких песен цыганских не встречала. Хотя у меня в детстве одна из любимых пластинок была – «Цыганский хор». И там мне все было понятно: бубны, кольца...

*Когда уходит день в изгнание  
Под звездный бархатный шатер,  
Иду я к вам, друзья-цыгане,  
Иду к тебе, цыганский хор!*

А здесь почему-то цыгане запели про маки. Голубые! Да, вот вы только представьте, голубые! И там в куплете еще повторялось все время – голубые. Хотя голубые, и я специально об этом у Ганнибала спросила, у нас здесь в окрестностях не растут. А только красные.

Но эти строчки из песни все сбывались, когда Сороть весной разливалась. И образовывалось поле – голубое. Ну, прямо как в



песне поется – голубое. И мы босиком тогда ходили везде: по воде и по траве.

Когда мед проступал уже сквозь стены

Брала весной березовый сок. Алексей меня тоже научил. «Ты сок берешь? – он начинал меня уже спрашивать в марте. – У тебя появилась уже, у тебя должна была здесь появиться уже, ну хоть какая-то, ну хоть мало-мальски немного знакомая береза!»

А у меня березы знакомой тогда не было, хотя Алексей мне заранее по моей просьбе дал лоток, по которому стекал бы этот березовый сок. Лоток из колышка для туристической палатки.

И я приходила за соком чаще утром. У меня набиралась бутылка. А Алексей мне говорил: «Это что! Мы раньше и ведро сока за ночь набирали!»

А однажды, когда я за соком пришла, он вдруг замерз. Береза, смотрю, и бутылка – все в сосульках. Сосульки свешивались или немного текли по стволу. И просвечивало сквозь ледяные дольки солнце. Трудно было поверить, что это был березовый сок. Он во рту таял.

Все мы напробовались сока тогда, наугощались, внутри у каждого из нас было уже по своей родной березе. А в Алексее тогда оказалось еще немного клена. Он успел и кленовый попить сок.

Потом он меня приучил к траве бораго (ее другое название – огуречная). «Без огуречной травы у человека будет сердце без мужества!» Мне Алексей говорил, что так древние римляне считали.

И у Алексея этой мужественной огуречной травы всегда было валом в огороде. И он меня ею подкармливал, прикармливал. А она такая вся немного колючая, в цветочках.

Алексей он неприхотливый в быту римлянин. Он и огуречную траву ел, да и петрушку. Но зато и характер у него «пароходистый». Как говорила соседка тетя Маша.

И еще мне Алексей рассказал о рыбалке в своем детстве. Как они с братом вешали стальную корзину на нос лодки, накладывали сосновые щепки, поджигали... И раздувался постепенно огонь и просвечивалось мутноватое дно. И все коряги постепенно становились видны, водоросли.

И в письмах Гейченко я потом не раз читала: «Возили меня ночью на лодке, на корме зажгли огромный смоляной пень. Везли торжественно, будто я был не я, а древний викинг...»

Алексей, конечно же, не возил на лодке Гейченко (просто потому, что в то время был ребенком), но их лодки курсировали когда-то рядом по Сороти, подсвечивая этими падающими с шипением в воду углями себе путь.

И еще мне Алексей рассказал, что в амбаре, в котором я тогда первые недели жила, во времена его юности был склад, в котором хранились все списанные из усадебной экспозиции предметы.

«Посидеть в кресле какого-нибудь местного помещика посреди банок хранящейся тут же олифы и пеньки (а пенька это такая веревка) это было блаженство для ребенка» – записал в своей тетрадке воспоминаний о детстве Алексей.

Я пришла, а он разглядывал на пригретом крылечке чемодан. В этом чемодане тогда у него хранились лески.

А в другой раз пришла, и он уже на крыльце точил пилу. И говорил, что у него здесь комбинированный зуб на ножовке. А бывает еще и «акулий». Прямой, скошенный.

Перед домом у него росли «сентябринки» (это астры). И в октябре они уже становились «октябринками». Бревна в доме были проконопачены мхом и старой глиной. Снаружи дома были набиты огромные гвозди – вешать сумки.

Сколько раз я приходила к нему и на эти огромные гвозди сумки вешала! И вдруг мне Алексей говорит, что у него дом оказался насквозь пропитан медом. Что у него дома недавно жили пчелы.

Рой перелетел через Сороть и пчелы поселились на чердаке, прожили лето. И в благодарность от них Алексей потом получил бочонок меда.

Дом пропитался у него насквозь этим медом, этим воском. И казалось, что мед проступал уже сквозь стены. Как проступает на сосновых досках смола порой от жара. Пьешь чай, и только поддевай и поддевай со стен ложкой этот мед.

У Алексея блесна, как монетка, он забросит. И если «орел», то в саду мы накоптим окуней. Если ничего, то еще разок забросим.

Алексей забрасывает и забрасывает свою блесну, как монетку из того самого исчезающего временами дома Пушкина, и возвращается к своей любимой реке. Так каждый день.

## В кресле поэта

Недалеко от усадьбы у нас жила еще Валентина Ефимовна Терешкова. На кордоне.

Эти кордоны предназначались для лесников. Но постепенно Семен Степанович Гейченко начинал заселять их все художниками. Валентине Ефимовне он предлагал переехать, отказалась.

И она осталась на своем кордоне одна. И ее прозвали, как только она там поселилась, Терешковой. Потому что она была Валентина. Очень просто. Была бы она Маша, ну или, допустим, Наташа, и ее бы прозвали по-другому.

Никто и не подумал тогда, что это прозвище из газеты, новостей про первую женщину, совершившую одиночный космический полет, через много лет вдруг окажется пророческим. Потому что все к этой космической уединенности шло.

Валентина Ефимовна жила в заповеднике одна. И на этом кордоне у нее не было ни колодца (вот почему-то его за все время не вы копали) и ни огорода. Огородец у нее был, но зарос. А воду Валентине Ефимовне привозили обычно рабочие – в бидонах.

Один раз позабыли зимой (и хорошо, повезло ей, что зимой!) и Валентина Ефимовна, смеясь, топила снег. Нисколько от недостатка настоящей воды не унывая.

Телевизор у нее был, но сломался, не чинила. Радио у нее тоже когда-то сломалось, не чинила.

В заповеднике Валентина Ефимовна работала смотрителем и собирала для комнаты Пушкина цветы. По всему музею с весны расставлялись по комнатам букеты, и именно Валентина Ефимовна собирала для комнаты Пушкина цветы.

Ну а мы с ней обычно встречались все время в автолавке. Автолавка это синий фургон, список товаров на огромном бумажном листе магнитами прикреплен к железной двери.

В девять автолавка у нас, а потом она идет на Воронич и на Савкино. Одинаковые у всех кошельки, одинаковые (потому что список товаров один) у всех покупки.

И Валентина Ефимовна приходила на встречу с этой кочующей, как орбитальная станция «мир», автолавкой всегда первой. На ее тапочки обязательно налипала в лесу хвоя (как и Валентин Анатольевич, Валентина Ефимовна по лесу ходила всегда в тапках).

А после автолавки она иногда заходила ко мне в гости. Она покупала нам небольшую бутылку, угощение. Тот же Семен Степанович Гейченко, хотя и не пил алкоголь, но говорил: «Когда на душе пусто, когда телу беда, стакашок опрокинул – вот и радость...»

Валентина Ефимовна наполнит стаканы – мне из-за воспитательных целей половину! – и немного торжественно объявит: «Ну, глотнем!»

А перед смертью она почему-то взяла и отдала мне в коробке фотографии: как сплавляют бревна по Сороти во время восстановления заповедника после войны, фотографии, на которых Валентина Ефимовна молодая...

И некоторые из ее фотокарточек подписаны. Она сама подписала. Со стихами: «Ты расти, ленок высокий, синим пламенем гори, речка Сороть недалеко и деревня Зимари!» (в деревне Зимари Валентина Ефимовна родилась).

Последнее, что связывало ее с нашей землей, с ее пребыванием на этой нашей земле, она мне в стопочке этих своих фотографий здесь оставила.

И на одной фотографии, а это было снято зимой, Валентина Ефимовна в телогрейке и пуховом платке сидит в знаменитом деревенском рабочем кабинете поэта и в его рабочем кресле. Перед нею разбросаны знаменитые пушкинские рукописи.

И понятное дело, что Валентина Ефимовна здесь с фотографом ну там на праздник какой-то пошутили. И ни она одна в этом знаменитом пушкинском кресле сидела, а многие из смотрительниц музея.

Но что меня удивило: Валентина Ефимовна не позировала, а сидела в этом пушкинском кресле как-то очень спокойно и достойно. Ее космический полет продолжается. В кресле поэта.

«Не знаю, способны ли обезьяны почувствовать красоту здешних пейзажей...»

И я в Михайловском еще поработала в зоопарке. Да, в зоопарке. Не удивительно, что у нас здесь появился зоопарк. После того как об Африке, о своей невиданной Африке, постоянно мечтал, тосковал в деревне Пушкин.

«Под небом Африки моей...» – он писал (под псковским небом). Поэтому и африканские страусы у нас здесь постепенно появились в зоопарке и мангусты.

А на окраине Михайловского уже много-много веков гнездятся цапли (они сюда возвращаются из Африки). Цапли гнездятся на берегу черного Ганнибалова пруда на верхушках старых сосен.

Пока высиживаются или выкармливаются птенцы, под соснами, ну и конечно под гнездами, вся трава у пруда в белом помете.

Цапли на вечерней охоте или молчаливо идут по воде или стоят. Они подолгу смотрят и смотрят на воду. И не только на промелькнувшую у них под ногами сейчас рыбу, но и на проплывающие у них по воде под ногами облака.

А на аллее Керн по утрам гуляют аисты. Я помню, аисты прилетели однажды очень рано, еще в самом начале апреля. А в середине марта, когда я впервые увидела цапель, пошел снег. В саду на подтаявшем снегу одиноко стоял пчелиный улей, обозначенный и очерченный капелью.

Лед уходил с Петровского озера в тот день, когда над озером же, возвращаясь после зимы, летели гуси. Лед потемнел, вот до чего он пропитался водой, и ледовую крошку прибило ближе к берегу. И она покачивалась и покачивалась тогда на волнах с хрустальным звоном.

И вот зоопарк... И у нас в нем было много кого. И среди прочих – альпака Тимофей. С огромными-преогромными глазами и с такими же преогромными ресницами, которыми он очаровывал всех, когда моргал. И он ими иногда очень даже расчетливо моргал, привлекая внимание восторженных посетительниц конечно. Увидишь вспышки фотокамер и селфи – там Тимоша. Хотя в нас он без зазрения совести плевался.

Вот я чищу, допустим, ему его опушенные ножки, как у пуделя, проверяю миниатюрные копытца, выстригаю на его густой шерсти колтуны, вычесываю на его белоснежных шароварах специальной массажной расческой налипшие мелкие какашки (они похожи на черный перец горошком).

Ну а он или плюнет мне в лицо или, если я чищу его сзади, голову ко мне повернет «так, так, так, я не вижу сейчас, ты где?» и, сложив губы бантиком, плюется. И для него всегда было важно плюнуть именно человеку в лицо, а не в пространство.

Верветка Ляля у нас еще в зоопарке жила (и сейчас есть). Верветка это такая зеленая мартышка. Из посетителей кто-то ей просунул миниатюрное детское зеркальце в вольер и Ляля, она мало того что постоянно собою любовалась, она ловила им солнечный луч и наводила его на посетителей, как светящийся энергией бластер в «Звездных войнах».

И голошейные куры у нас были. И это такая порода – голошейные. У них жилистые и неоперенные шеи, покрасневшие. При кукарекании эти жилы на шее раздуваются, как связки во время концерта у певцов.

У лебедя-кликуну клюв лимонный (мой любимый!). Вот любовь у меня к лебедям-кликунам невероятная! И именно за лимонный этот клюв, так искрящийся на сверкающем снегу, отражающийся под мерцающей луной и сливающийся с листьями.

И патагонские зайцы у нас были (или по-другому они зовутся – мары): «О, о, мары! Сюда поскорее идите, тут «омары»!» – кричали воодушевленно посетители.

Патагонцы это зайцы с такими длиннющими усами и так приятно щекочущими щеку, когда зайца на руки берешь.

Уголек – это вьетнамская черная свинья. Глаза Уголька были спрятаны под огромными и кустистыми бровями. Его щетина напоминала плавник. А когда он по сугробам гулял (хотя мог бы не гулять!), то горячее дыхание из него вырывалось, как из топки.

Ему шел этот белый прозрачный зимний свет, он хорошо контрастировал на нем своим темным и действительно угольным началом. Снег падал на него как на остывшие угли (без шипения). А не защищенный мехом бок смотрелся, как бочок у пропекшейся на костре, в золе картошки.

Свинные девчонки, и тоже все, разумеется, черные, они были той же породы, переваливались во время прогулок с боку на бок. По дорожкам зоопарка бродили надменные гранд-дамы на подворачивающихся от тяжести ножках-«каблуках».

Сосредоточенные стояли у нас по своим вольерам цапли. У дикобразов вечерами светились иголки в темноте. Хорьки, несмотря на наличие у них по вольерам скрытных домиков, в жару устраивались лежать в чугунках.

А у нас было много чугунков. Все чугунки из заброшенных домов. И из чугунков у нас часто пили куры.

Августина, была еще носуха у нас, она буравила носом в снегу лунки. Она докапывалась самой земли и проверяла: не началось ли еще под снегом весеннее пробуждение, оттаивание, не участилось ли у земли к весне дыхание?

Гусь Хиддинк во время водопоя следил, чтобы никто из гусей не толкался и не жадничал. Всех непокорных, скандальных и наглых трепал клювом. А потом гуси отправлялись болтаться свободно по участку. И Хиддинк шел и горланил во главе. И ему все, подобострастно конечно немного, подпевали.

Он приводил гусей на ночевку каждый вечер и на месте каждой новой ночевки проверял: а чистое сено гусям на подстилку положили?

И убедившись, что на вверенном ему участке земли, и на земле и на небе, все пока спокойно, этот замечательный гусь, засунув свой шнобель под крыло (а ноздреватый был у Хиддинка клюв такой, с горбинкой) с чувством выполненного за прошедший день долга засыпал.

И нам часто приносили ежат с не сформировавшимися еще и на удивление белыми иголками. Ежата розовые и вот эти вот белые иголки. И мы выкармливали ежат из шприца (во время выкармливания снималась не нужная иголка).

И у меня была еще в зоопарке волчица, звали Ирма. А у Ирмы в подругах овчарка наша – Спарта. И они вместе играли и гуляли. И только в играх можно было увидеть такого дурашливого волка, всего преисполненного этим счастливейшим вдохновением игры, с этим клацаньем обнаженных челюстей, без труда перегрызавших во время еды говяжьих кости.

И я называла их игры ну какой-то дуэлью челюстей, когда Ирма, безрассудный и отважный подросток, как Айвенго, атаковала терпеливую опытную Спарту. И овчарка (а она была старше) отбивалась.

Волчица обожала овчарку и на прогулках искала всегда Спарту. А овчарка всегда была первой готова учуять любую опасность, защитить, пока Ирма, в то время еще безмятежный волчонок-подросток, веселилась.

И овчарка меня всегда выручала на прогулках, когда Ирма (а я ее иногда отпускала с поводка) от меня уносилась по оврагам. А куда, я не вижу, не пойму. И овчарка оставалась со мной. И она

всегда спокойна была, ну и я была спокойна. А почувствовав движение знакомой волчицы, ее уши шевелились.

Почти вся молодецкая удаль волчицы была для ее любимой Спарты. Волчица хороводы водила вокруг Спарты. Она припадала обычно всегда перед нею на колени, она виляла хвостом с этой щенячьей просьбой поиграть. И Спарта, великодушная и благородная Спарта, соглашалась.

А благодарная Ирма всегда признательно целовала ее в десны. Спарта приподнимала немножечко верхнюю губу, но не брезгливо, а так как у псовых это принято, и Ирмушка целовала ее в десны.

Спарта была терпелива безмерно, и она никогда не огрызалась. Если надо подвинуться, подвинется. Если захочешь угостить, все возьмет. А не захочешь, и Спарта обиды не запомнит.

У нас постоянно выкармливались еще какие-то звериные детеныши в доме. И все щенки после очередного кормления устраивались под уютный бочок к Спарте. Таким образом, овчарка у нас незаметно стала нянькой.

И то с одним она потетешкается и поучаствует во всех играх щенячьих, то с другим. Она часами терпела щенячье заигрывание Ирмы. Когда ее тянули за брылю, когда ей оттопыривали брылю.

Но никогда у нее ни на кого не вставала холка дыбом. Наоборот, она вылизывала всем малышам животы (им это необходимо для налаживания в детстве пищеварения), она своей собачьей слюной бесконечно и терпеливо лечила «детям» раны.

И именно Спарта, хотя мы и выпаивали разведенным из искусственной смеси молоком, становилась для всех молочной матерью. Ее запах они, как родной, запоминали.

Названная Спартой (случайно, не случайно?) она выхаживала и в первую очередь она всегда согревала самых слабых.

И еще с нами жил ротвейлер Джерик. Ни на кого он никогда из случайных прохожих не кидался и никого он никогда на наших совместных прогулках не пугал.

Но у него была одна страсть — для такой крупногабаритной собаки удивительная: он нежно и он просто до самозабвения любил белок.

Он мог на них часами смотреть. Белки скидывали на него шелуху от черных семечек. Они чувствовали с его стороны это первое и, возможно, конечно наивное признание.



Белки даже кокетничали с Джериком! И отвлечь от этих белок его, когда он на них влюбленными глазами смотрел, не на косточки и не на какие куриные грудки было просто невозможно.

Вспоминаю и вспоминаю зоопарк. Ну а как не вспоминать! Как цапли весной поочередно опускали свои ноги в поилку, будто градусник. Они так проверяли температуру воды: одну ногу опустят, пополощут. И как лосям я приносила кипрей (правда, от переизбытка кипрея лосей слабит).

Кому-то, может быть, это покажется странным: это сочетание заповедной и уединенной усадьбы и альпаки. Ну, или там Пушкин и верветки...

А я вспоминаю сейчас знаменитый сюжет знаменитого Василия Михайловича Пескова о знаменитой же биологической экспедиции на острове. Когда на одном из островов на озерах Псковской области ученые поселили шимпанзе.

Ученым было важно понять, насколько шимпанзе адаптируются. И они очень даже успешно адаптировались!

Они встречали у берега озера ученых. Они помогали им причаливать лодки за носы. Они научились, и ученые говорили об этом с какой-то особенной гордостью, собирать в лесу чернику.

Правда, со временем все эти научные эксперименты прекратились. Но остался фильм Василия Михайловича Пескова об этих исследовательских изысканиях на острове.

И там обезьяны гуляют среди шелестящей осоки. Они смотрят на камыши у воды. Они шлепают веслом по воде. Они засовывают свои лапы по локоть в голенище к приехавшему их навестить рыбаку.

«Не знаю, способны ли обезьяны почувствовать красоту здешних пейзажей!» – начинался телеочерк.

## Мыс Дежнева

Но ведь мы о сурикатах забыли! Мы забыли! А они давно уже смотрят на меня и их черные ноздри на их черных и впечатлительных носиках шевелятся.

Потому что у нас как раз сейчас время завтрака – зофобас. Я на завтрак даю им сейчас зофобас. Это личинки тропических жуков. Для сурикатов источник природного белка.

Этот зофобас, он продается в специализированных ветеринарных магазинах конечно – для экзотов. Ведь сурикаты они для нас экзоты.

И в магазине я понахваталась словечек. Очень умных! «Хамы» – это значит хамелеоны. Полозы – «полозья».

Игуаны – это «иги» (и я вспомнила «Мечты Аризоны» Кустурицы и заглавную песню саундтрека, ведь там ее исполняет тоже Игги Поп!).

Ушастые совы – «ушанки». Млекопитающие – это «млеки» обычно, «млекопиты». Азиатские леопардовые кошки – это «алки».

Я забираю зофобасов в коробке. И они внутри там постоянно шебуршат и шевелятся: брр-брр... Вместо домика у них картонные упаковки из-под яиц. Для еды я им нарезаю по дольке морковки или яблок.

«Фобас? – мне написала тут недавно подруга-зоолог. – Мой любимый фобас! Ну, я его обычно всегда делаю так, если мне его негде сохранить: я заморозу его, ну а потом порционно достаю, оттаиваю его в теплой воде и даю»

И я теперь делаю так. И получается, что знаменитая присказка про «заморить червячка» – про сурикатов!

Вышло солнце и сквозь мои старые, по-медицински утепленные этими нащипанными клочочками ваты деревянные комнатные окна осветило старый пол. На котором паркетинки рассохлись.

И сурикаты извлекают сейчас из этих щелей на паркете коготками и мои старые кнопки канцелярские со сломанным, гнутым наконечником. И какие-то мои старые скрепки. И монетки. И когда-то оторванные пуговицы.

Винтики, шайбы от конструктора. У меня в детстве винтик закатился, а сурикаты его через столько лет нашли!

У меня хвои сейчас обнаружилось под паркетом не меньше, чем в лесу! Это старые, еще мои детские елки осыпались. Как ни пылесось всюду пол, ни подметай, а иголочки рыжеватые и колючие найдутся.

И сурикаты сейчас еще раскопали мне две шашки! Но не сабли, а это у меня были шашки такие – на магните. Ну, то есть они примагничивались к полю. Ход делаешь и шашечку отрываешь от доски. И прямо чувствуешь, как ее уже тянет обратно, как магнитит.

Не знаю, что мне вообще тогда больше нравилось: играть или чувствовать это тягучее притяжение магнитов.

И еще благодаря сурикатам у меня тут недавно нашелся мыс Дежнева. На карточке из географического лото «Вокруг света» (у вас был?). На этих карточках были напечатаны отдельно вопросы и ответы, и нужно было во время игры их совместить.

Сурикаты нашли мои букочки «т», «д», «е» от «эрудита». Они вообще, как только у меня появились в квартире, стали рыть. И обои они начали моментально скрести. И буравить в стене дырки.

«Ребята так изрешетили стены моего заведения! Тут ремонт долларов на двести потянет!», как говорил бармен Олег Табаков в моем любимом и легендарном «Человеке с бульвара Капуцинов».

Стена крошится с катастрофическим для меня, но с вдохновляющим сурикатов успехом и упорством. Стена овраг с продырявленными гнездами для ласточек. С «иллюминаторами», процарапанными Монте-Кристо моим – Ритой.

Над углублениями Рита работает старательно. Нос побелел у нее, потому что в известке и пыли. Только глаза, а у Риты они цвета черных ягод черемухи, сияют.

И с каждым днем стены больше истончаются. И не вода камень точит (и заодно уже стены!) – сурикаты!

Они отколупывают штукатурку от стенки с наслаждением. Они нароют в стене углублений, отверстий и прилягут. Они вытянут передние лапы вперед удовлетворенно.

Коготочки у них во время рытья – и это единственный плюс от копания! – как правило, стачиваются сами. Хотя сурикатам обычно подрезают. И подрезая, обязательно смотрят на просвет, чтобы видны были кровеносные сосуды, чтобы как раз не задеть эти сосуды.

И Рита переносила спокойно маникюр (если он все-таки был). Ну а Сура, он щебетал и щебетал постоянно, как девчонка. Хотя какая из этого увальня девчонка! У сурикатов девчонки верховодят.

Вон Рита содрала вчера немного подушечку на пальце. И играет! И копает! Она находит податливое место. И уж такое податливое место, где стоит всего лишь поддеть, отколупнуть и твой дом он вдруг замок из песка, выковыриваемого сейчас очень тщательно из стенки.

Межкомнатную копать разрешаю, но скрести и разламывать несущую!!! Но, в конце концов, «это всего лишь кирпич в стене, это всего лишь кирпич в стене», как пел «Пинк Флойд».

И мы на этой иссеченной длинными сурикачьими когтями стене недавно с Ритой смотрели диафильмы. Ну, вы ведь помните, что это такое – диафильмы?

Когда стена превращается в экран, освещенный направленным лучом. И этим лучом освещается вся пыль. И это редкий момент, когда ты любишься на пыль. Как перед носом она у тебя оседает, поднимается.

Мне эта пыль напоминала планктон. Пока ты пленку менял или просто перед лучом проходил, твоя тень была всегда увеличена проектором.

Диапроектор горячий и луч его горячий. Диапроектор как маленькая пушка. И буква «ф» на этой разноцветной заставке – «диафильм» была еще в виде такой жар-птицы с крыльями.

Смотрели диафильмы зимой, когда мороз непроглядный за окном. Когда подсвечивался и мерцал на окнах иней.

В диафильме про «пляшущих человечков» я помню тонкие и временами уже даже какие-то паучьи пальцы Холмса.

А посмотрев «Белый клык» я на сочинении в школе написала: «Песни этих людей (и речь идет здесь о героях Джека Лондона) вой волка. Мир этих людей бел. Молча идут они по замеченной дороге своей жизни»

Рита перебирает сейчас эти черные пленки диафильмов. Она все черные целлулоидные ленты раскатала. Она нюхает сейчас освещенную этим горячим лучом стену.

И я прекрасно понимаю ее! Когда увидишь такое слепящее пятно, будто Сатурн или какая-нибудь другая планета из географического лото «Вокруг света» однажды взяла и спустилась к тебе в дом!

Рита увидит, что я компьютер или телевизор включаю, угнездится. Зашевелятся от предвкушения просмотра ее ноздри. Ее чуткие и ее впечатлительные ноздри. Они улавливают в себя, и они поглощают в себя и вдыхают каждый кадр.

И все волнует ее! И косяки океанических рыб, когда мы смотрим документальные фильмы в 3D. И птичьи стаи. Рита увидит лопатки крадущихся по саванне в кустах львиц и тут же быстро обернется ко мне: «Нет, ну ты видела, ты видела?!»

А Сура, он на диване, лениво или сонно развалится, зевает. Он прокемарит половину кино, для него все это «для девчонок» кино. Ну а Рита, отзывчивый и внимательный зритель, все досмотрит.

Во время «Бременских музыкантов» Риточка не сводила глаз с экрана. И на песенке капризной Принцессы, и на серенаде влюбленного в нее шалопаю Трубадура. На куплетах марширующих стражников, волочащих за собой пушку, грянул выстрел, и Ритося нырнула под подушку.

«Рита, Рита, сурикатов показывают!» – я кричу ей, если сурикатов показывают. И Рита, а мы с ней «Поместье сурикатов» смотрели, прибежит.

Петина клетка висит у меня над компьютерным столом. Клавиатура вся усыпана сейчас этим Петиним просом расшелушенным.

У вас клавиатура не усыпана этим кормом для волнистого попугая, расшелушенным? Я выдуваю, когда пишу эти строчки сейчас, из-под клавиш клавиатуры горстки проса.

Перебирала стол и нашла свои деревянные карандаши кохинор и транспортир. Нашла газету, которую я выпускала сама. То есть стенгазету. Название крупными буквами написано о том, что «Впереди – океан!»

А почему там впереди океан? Все очень просто. Когда мне было десять или одиннадцать лет, я написала письмо с просьбой зачислить меня в Высшее военно-морское и почему-то вот именно Тихоокеанское училище. И почему в Тихоокеанское училище? В территориальном плане от меня был абсолютно далек этот неведомый Тихий океан.

Но я действительно сама для себя выпускала газету – стенгазету, где впереди был именно этот самый океан. В журнале «Костер» была рубрика «Морская газета», я читала.

Учила азбуку сигнальных флажков. И занималась в кружке при ДОСААФ. В кружок радистов (морских!) меня отвела после моих долгих просьб и стенаний моя мама.

Вовка Груздев, мой школьный и дворовый приятель, из-за меня записался в макраме. Он-то думал, я тоже запишусь! Ну а я в тот момент, ну а я – среди радистов!

Маму слушалась исключительно в детстве по свистку. По обычному лыжному свистку. Ну потому что морской я в то время не

нашла, а мне хотелось, чтобы звучала эта знаменитая морская команда которая «свистать всех наверх!».

И вот мама она у меня постоянно свистела и свистела. И на завтрак она мне обычно все время свистела, на подъем.

Причем подъем у меня тоже был непросто подъем, а чтоб на скорость. Пока спичка, как я вычитала в каких-то журналах, не погаснет. Мне обязательно нужно было встать и одеться, пока эта спичка не погаснет. И из-за этих спичек зажженных все в дыму!

И спичками мы протыкали пирог (а вы не протыкали пирог?). Сухая спичка это значит пирог уже пропекся.

Ну и песни, конечно, я знала все морские. Как мне казалось тогда, их нужно было петь таким хриловатым мужским голосом. И я тренировала эту нужную долю хрипотцы, раскуривая (все это на балконе обычно) листочки и такие вот самокрутки из тетрадок.

Вовке Груздеву дала на балконе прикурить, а он меня своей маме сразу выдал! Не удивительно, что на выпускной фотографии нашего пятого класса, а фотки всем тогда в конце года раздавали, у Вовки Груздева перечеркнута моей гневной рукою голова.

И одновременно со всей этой «морскою болезнью» я почему-то решила, что я – Лермонтов. И я была уверена, что умру (ну уж таков мой провидческий удел!). И пока во мне еще маячила жизнь, мне нужно было срочно понять тайный смысл своего появления на свет и свое предназначение.

Потому что неудача Печорина – «пробегаю в памяти все прошедшее и спрашиваю невольно себя: для какой цели я родился?» – не давала мне покоя.

И страницы из сочинений поэта – все, что нужно, уже аккуратно подчеркнуто карандашиком! – нависали булатным узорным кинжалом надо мной.

А одноклассники и товарищи? Друзья? Да что вы, что вы! «Все мы живем и находимся в бездействии!» – уже не Печорин, а я так написала на сочинении на свободную тему в пятом классе.

И что «душа в моей жизни отсутствует!» я с демоническим вдохновением признавалась. «И почему моя девочка – Лермонтов?» – удивлялась доверчивая мама.

Мама вела одновременно со мною дневники, в которых отмечала все-все: от «верхний зуб справа у Юли в девять месяцев» до (и это примерно то время, когда меня уже поглотила морская стихия) – «принесла из яслей сейчас выражения».

Я маме из пионерского лагеря «Прометей» нежно писала: «Мама, выключай, когда уходишь, все электрические приборы! Когда ешь рыбу, смотри осторожно всегда – косточки! И не пей, разгоряченная, воду!» У меня отряд назывался – «Альтаир».

В родительский день мне мама привозила клубнику, пересыпанную, чтобы не испортилась, сахаром. И эта клубника давала густой сок.

И помню еще, как я на сцене стою с окровавленной красочно рукой (это мы изображали партизанский отряд). И у меня гуашь проступает сквозь бинты. О, мы ведь красок на раны не жалели!

И помню проводы еще (обязательно!) в пионерский этот лагерь, когда сидишь у самого лучшего места – у окна. И взрослые машут руками тебе и показывают тебе знаками в воздухе «пиши!». И чемоданы с наклеенными на них номерами отрядов погрузили.

И именно в последний момент, когда мотор уже заведен, разгорячен, и все двери в автобусе закрылись уже, и автобус вот-вот тронется, мне так хотелось вдруг вырваться из разделяющих нас стекол салона и вернуться назад к маме.

Мама первая ко мне в первый же родительский день сама тоже с места обычно моментально срывалась, приезжала.

Кроме меня, у нее есть только ее старшая сестра тетя Люся с дядей Юрой. Но они дипломаты, китаисты. Долго жили безвылазно в Китае. И я помню только какие-то фрагменты наших встреч.

Как нам дядя Юра готовит свое коронное блюдо – эту знаменитую утку по-пекински. Утка пахла неведомыми специями! Это сегодня в Москве изобилие китайских приправ, ресторанов, а тогда...

Утка сочная была и с какой-то хрустящей красной коркой. И под вилкой она аппетитно разваливалась. И мы ели ее под огромной желтой картой. И это была карта Китая (а желтая из-за желтых песков пустыни Гоби).

Карта с синими развилками рек, знаменитых Янцзы и Хуанхэ. И я водила рукой по Хуанхэ. И как я понимаю теперь, эта тяга к пустынному песку появилась и проснулась во мне до сурикатов.

Занавески, а они были все из бамбука, шелестели. Иероглифы нарисованы были черной тушью. Свисали свитки. И на них был то крадущийся тигр, ну а то притаившийся дракон. И вся эта мудрость – одновременно с ароматами готовящейся утки на кухне! – опьяняла.

И я запомнила шашки на ковре. Не магнитные, как у меня были дома – из пластмассы. А сам ковер это шашечное поле.

Ну и мы с дядей Юрой на ковре, утопая просто в этом ковре (ну я не знаю, как там дядя Юра, ну а я в этом ворсе утопала) играли в красные и черные шашки из пластмассы. И размерами они были чуть ли не с глиняную миску!

Конверты со штемпелями авиапочты, фотографии: дядя Юра стоит среди китайцев, на обороте фотографии подпись «Пекин, Бэйхай, Северное море», тетя Люся стоит в разрисованном тюльпанами платье, вся сияет...

В Пекине она регулярно организовывала хор из поющих сотрудников посольства. Аккомпанировала хору сама, на семейном своем аккордеоне.

«Хор наш выступает везде! – тетя Люся писала моей маме. – Перед эмигрантами в Харбине...»

«Играем за нашу дипломатическую миссию в волейбол! Пока выигрываем!» – подхватывал тетю Люсю дядя Юра.

А вот отца я не помню абсолютно. Вот не помню. Он умер, когда мне было три года. И я не помню, какие свитера он носил. Черные? И, наверное, с потертыми джинсами? Не помню.

У меня даже нет ни одной фотографии, на которых мы с папой, как дядя Юра с тетей Люсей в Китае, были б вместе.

Да и у мамы из ее фотоальбомов в архиве нашлась всего одна фотография. Да и фотографией-то толком ее не назовешь. Просто трое мужчин беззаботно куда-то шагают там по шпалам. И один из них – в середине – мой отец.

Но сфотографированы они со спины, да и сняты еще издалека. И тогда я себе папу – по рецепту той самой дядюриной утки волшебной! – сочинила. Надеясь его, как приправами, цитатами.

Все цитаты я заносила в блокнот из любимившихся фильмов и с пластинок. И обязательно потом еще перед зеркалом учила. Перенимая движения, которыми герой вынимает, чтобы, конечно же, сразиться с врагами, пистолет...

И папа, конечно же, стал Бельмондо во всех фильмах – прям мгновенно! (В «Профессионале», «Неисправимом», «Великолепном», «Чудовище» особенно!).

А потом у меня уже по расписанию телевизионной программки был Андрей Миронов («Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев» и плюс еще «Достояние республики»).



Ну а на следующий день мой отец – Денис Давыдов. В историческом и приключенческом фильме «Эскадрон гусар летучих».

В «Эскадроне» был знаменитый финал, когда Давыдов на лошади мчится, мчится, мчится. Он отпускает на мгновение поводья (а это сложный для каждого наездника трюк!) и хлопает над головой своей в ладоши.

Зимою там тоже все скачут, скачут, скачут (ну а чего б ни скакать, в кино две серии!). И на привале там Давыдов поет: «Не пробуждай...» Ну а я вот сижу и пробуждаю.

«Гусарскую балладу» я полюбила за то, что там, пусть на мгновение почти, но тоже появлялся мой бог и кумир Денис Давыдов и говорил там, обращаясь к какой-то певичке и кокетке: «Что вижу я, о, чудо из чудес! Шехерезада среди моих повес!»

И Шехерезадами для меня, разумеется, были все вокруг: моя соседка по парте (вторая парта по среднему ряду) Светка Иванова, моя соседка по парте по левому соседнему ряду Светка Брянцева.

И даже предатель, сидящий на самой «камчатке», Вовка Груздев. А мы с папой, уж мы-то с моим папой, по всем параметрам мною тщательно подобранным, мы с папой всегда среди повес!

Я выбрала сама для себя в этой жизни путь повесы и обозначила уже в восемь лет приоритеты – в своем стихотворении о гусарах: «Что нужно гусару? Совсем нечего! Гусару гитару да в зубы сигару. А в руки карты и деньги в карман»

«Юля отдает честь военным на улице. И особенно часто – морякам» – писала мама.

В своей детской книжке «Бородино» (опять всплыл мой кумир и наставник, гусар Лермонтов!) я подрисовывала, а вернее подкручивала гренадерам всем усы (мне казалось, художник чуть-чуть не докрутил) и черточками я направляла до цели не долетевшие пушечные ядра.

В девять лет я выучила пушкинскую поэму «Граф Нулин». Всю поэму! У меня ее читал на пластинке Сергей Юрский. И мне нравилось, перенимая его такую кошачью манеру, повторять:

*К несчастью, героиня наша...*

*Ах, я забыл ей имя дать.*

*Муж просто звал ее – Наташа...*

Но мы – и голос Юрского был такой лукавый!

*Но мы будем ее называть Наталья Павловна...*

Ну и конечно «Юнона и Авось»! И этот рокошующий голос с хрипотцой: «Преисполнен решимости буду в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового света!»

Или когда жениху прелестной Кончиты граф Резанов (а играл его прекрасный Караченцов) бросал: «Дуэль?! Щенок! Оставьте нас! Я объясню ему без переводчика!» Всю жизнь отдала б в десять лет, чтоб вот так тогда сказать!

И зависали над залом — и все это происходило во время спектакля! — настоящие морские форштевень и бушприт. И вся сцена качалась на волнах, касаясь этим деревянным бушпритом сердца зрителя.

И я смотрела постоянно в бинокль и приближала и приближала к себе лицо Резанова. Особенно в тот напряженный момент, когда он, уже давно простудившийся, больной, отвечает на просьбы матросов образумиться: «Мичман, отплытие на носу, а состояние шхуны отвратное! Все бабьи сплетни в голове. Все свободны!»

И начинался неумолимый отсчет. Резанов, он на моих глазах умирал — тогда, когда был виден маяк Новоархангельска!

И меня колотило от криков матросов: «Живее, черти, коня графу Резанову! — Да, куда ему коня! Разве что в ящик! — Нет, нет, нет, — там кто-то из матросов кричал, — он успеет! Он — везучий!»

А через много лет меня взяли юнгой на ладью. На настоящую морскую ладью. Деревянную. И с настоящими мачтами. С бушпритом. И с поскрипыванием, как у Роберта Льюиса Стивенсона, рей. И с пеньковой веревкой. И с зюйдвесткой.

И с бушлатом, на котором было проштамповано на изнанке черной краской — и как раз где-то на уровне сердца: остров Мощный. И мне дали этот настоящий бушлат, пускай и на короткое время, поносить.

Ладья пришвартовалась в Москве по пути в Петрозаводск. Валера, мой будущий начальник по вахтам, когда мы познакомились, когда я его увидела с пирса, драил палубу.

Со швабры свисали переплетенные длинные «дреды» из каната. Чтобы воды зачерпнуть, ведро нужно было закинуть тут же за борт.

Нам предстояло пройти, как Валера сказал мне — «через Рыбинку» (это Рыбинское водохранилище). Потом зайти в город Череповец (как Валера сказал мне — «в Черепок»). И оттуда попасть уже в знаменитое Онежское озеро — Онего.

На двери в капитанскую каюту по-английски было написано «crew only». Столы были подвешены к потолку. Макароны (и они готовились по-флотски конечно!) постоянно в кастрюле варились, все такое. Сам камбуз это газовая плита.

Помимо юнги («зуйка», как мне Валера сказал) я должна была быть еще подкокорем. «Под кем, под кем?» – я, растерявшись, с блокнотом в руках переспросила (а в блокнот я заносила обязанности).

– «Под кем?! Под кем?! – Валера меня передразнил. И объяснил вразумительно: «Подкокорем!» («а подкокорь – это кока помощник!») – я в блокноте записала).

Название лодьи, да, да, именно лодьи, не ладьи («лодья» это если говорить по-поморски, объяснил Валера) было выписано резными деревянными буквами по борту.

На ночную вахту – «собачью» Валера меня брал. Во время прохождения шлюзов я кричала диспетчеру в черную и потрескивавшую трубку. Шершавые стены во время прохождения шлюзов постоянно над нами возвышались.

«Кранцы за борт!» – мне по-морскому командовал Валера. Вывешивать кранцы – эти оранжевого цвета шары, немного похожие на тыквы, была моя главная обязанность.

И я их то поднимала на борт, то опускала (чтобы борт не ударился о стенку). А один раз нас качнуло немного о стенку и один из кранцев сдулся. И воздух из него с таким немного змеиным шипением выдулся: ш-ш-ш...

Горели вечерами бортовые огни, зеленый, красный. Вместо «понимаешь» Валера говорил мне по-свойски просто – «по»: «Ну, ты по, как крепить концы на «уточках»?»

И что помню еще? Что в один из серых дней (а солнечных дней из-за непогоды было мало) меня подняли и подтянули на мачту. Ну, посмеялись. Ну, пофоткали.

А потом все на что-то отвлеклись. И я вишу себе и вишу. Я вишу себе, вишу. Заморосил дождь и я холодную и мокрую мачту обхватила...

А как входили мы в гавань Петрозаводска, проспала. И помню только, что смотрю и смотрю на пенопласт (и откуда там взялся пенопласт?), а он такими большими ломтями у серого и хмурого берега качается.

Один мой приятель живет до сих пор на Рижском взморье. И я расспрашиваю его постоянно: как там море? И он мне отвечает в ватсапе: «Пью молоко по утрам из прозрачной, подаренной бабушкой, кружки, на велосипеде еду на реку. Ты видела когда-нибудь такое соломенное море на закате?»

Другой мой закадычный приятель, Миша Ротин, студентом когда-то подрабатывал на биостанции МГУ на Белом море, котломоем. Он мыл на полевой кухне котлы.

«Водоизмещение котлов, которые я в тот месяц намыл, равнялось бы водоизмещению какого-нибудь среднего рыболовецкого судна» – шутил Миша.

И еще у меня был приятель один – Толик. Из Африки (да, вот, кстати, из Африки! из Африки!!!) он мне привез тогда два спичечных коробка с семенами африканских растений. Чтобы я их посадила. Ну и я их посадила.

На одном из коробков было написано «поливать чаще», на другом «поливать реже». И я все правильно поливала, все так делала. Но не выросло ничего из этих семечек, кроме какого-то попугайного овса. И овес явно наш, не африканский.

И еще я до сих пор не могу, не оглянувшись, пройти мимо лодочных деревянных летних станций, на которых весла были всегда пронумерованы. И поскрипывали не смазанные уключины. Увидев лодку на берегу, я тянула туда маму.

И мы отправлялись в пленительное плавание. Всего час у нас был на это плавание! И из него, оставив мамин паспорт на берегу, мы обязательно должны были во время вернуться.

Поставить весла обратно в кладовку на причале. И сдать этот оранжевый спасательный круг и спасжилет.

Сколько рек переливающихся золотой рябью на солнце мы прошли! От скольких лодочных станций мы отчалили! И сколько раз проплывали под мостами, под деревенскими поселковыми мостами. Когда под сваями моста или под каменным сводом звучит эхо.

И был еще Донской монастырь, я родилась от него недалеко. А там вдоль стен монастыря горельефы, горельефы. И мама там гуляла со мной. И она почему-то останавливала коляску всегда там, где на стене был изображен великий князь Дмитрий Донской.

Он просил благословения на Куликовскую битву с горельефа. Его лицо, немного взволнованное перед этой битвой грядущей, надо мною нависало.

И я запомнила его бороду, усы. И его взгляд. И не успевший запомниться отец вдруг стал – Донским.

Ну а в следующий раз уже опять уносящимся куда-то там за летучим отрядом Дениса Давыдова гусаром.

«И он сейчас в открытую форточку войдет...»

Нашла свой школьный портфель, бежевый, из кожзаменителя, новехонький. Нашла свою детскую зеленую хоккейную клюшку и рапиру. Коробку из-под настенных домашних часов «Слава».

Нашла мамино рыжее пальто с оловянными рыжими пуговицами (их, их я срезала на замену потерявшихся шашек или фишек!).

Нашла нарисованные мною для мамы открытки ко дню рождения и письма: «Мама, если ты захочешь мне что-нибудь написать и сказать сугубо лично, напиши на конверте, где адрес, что это все будет «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!», я пойму».

Нашла какие-то деревянные пяльцы (мама очень хотела, чтобы я занималась вышиванием). Нашла пластмассовые ножи к пластилину из набора. Нашла «пятнашки» (у меня была такая игра).

Нашла сову. В кружке макраме я сплела однажды полярную белую сову. Правда, на удивление с изумрудными, а не с янтарными, как ей на самом-то деле положено, глазами.

Нашла мамины французские словари. Ее тетрадки с переписанными куплетами песен – песен Визбора. Нашла вырезанные ею из журнала «Работница» рецепты. Ни одним мама из этих кулинарных рецептов не воспользовалась, ни одним из советов по шитью.

Но тщательно все равно вырезала их, наклеивала. У меня на все случаи жизни сохранились вырезанные ею на память кулинарные и житейские советы.

Нашла мамины отзывы о себе по домоводству. Мы когда проходили домоводство, то родителям нужно было всегда оставить отзыв. И мама меня всегда неудержимо и конечно заранее хвалила: «Гречневая каша получилась у Юли хорошо!»

Сейчас нашла свои детские пластинки. И я не знаю, что со мной в детстве бы было без пластинок! Как и без всех этих покачивающихся деревянных лодочных турбазовских станций, радиол.

У меня была радиола «Ригонда». Очень старенькая. Она была одновременно приемник и проигрыватель. С перечислениями частот городов (и я запомнила таинственный город Беромюнстер).

Аудиосказки и потом еще всякие инсценировки с пластинок: «Звездный мальчик»...

Потом – раз! – и вдруг из памяти выплывает: «Арго-о! Разве путь твой ближе, чем дорога Млечная?..» «Танго, танго» поет Иосиф Кобзон, «Гуантанамера» Дина Риды.

Ну и «Богатырская сила» Стаса Намина! Когда на ударных там еще было такое вступление «тум-тум» и говорить нужно было серьезным, строгим голосом: «Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей! Не оскудела в сердцах молодецкая удаля! Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песней силу нашу, силу гордую, богатырскую!..»

Диафильмы давали тебе изображение с прокручиванием каждого нового кадра и с горячим сияющим лучом, ну а пластинки они переполняли тебя звуком. Иногда заедала пластинка, но не страшно. Ты иголочку одеколончиком маминым протрешь.

Олег Даль, он мой любимый артист, он записал на пластинке стихи Лермонтова. Любовь к Лермонтову передалась ко мне от Даля. «Наедине с тобою, брат» так у меня называлась пластинка.

И «Женю, Женечку и «катюшу» я, конечно, учила перед зеркалом. Олег Даль (а он играл в этом фильме Женю Колышкина) влюбляется там в Женечку Земляникину, связистку. Она по сюжету картины погибает.

В последнюю встречу они гуляют по полуразрушенному замку и Колышкин с неповторимой улыбкой актера Олега Даля говорит: «Позвольте вашу руку, сударыня, я проведу вас по руинам зла...»

В моем детстве в одном из театральных музеев была выставка, посвященная памяти актера Олега Даля. На ней были представлены его дневники. Его записи во время работы над ролями.

И я ходила в музей и переписывала тогда строчка за строчкой его мысли. Я ходила, пока не переписала весь дневник.

И потом уже в своем дневнике сама писала – его почерком, мною тщательно повторяемым, скопированным: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка...» Сомнений у меня в этом вопросе в детстве не было.

На выставке был восстановлен еще уголок квартиры Даля: его любимое кресло и его любимые книжные полки, его шкаф. И такая

вдруг домашняя обстановка там возникла, что мне захотелось увидеть Олега Даля дома.

И вот чтобы его увидеть дома, я почему-то держала всегда открытой форточку. Мне казалось, что он в открытую форточку войдет.

### Про огонек в медицинской пузатой старой банке

Сурикаты меня погрузили сейчас в воспоминания, они раскатали все черные и целлулоидные ленты диафильмов. Они рассыпали картинки из географического лото «Вокруг света» – мыс Дежнева...

«Приметы осени» – я на антресолях недавно нашла книжку. Раньше сборники выходили для детей: «Утро» (с подборкой стихов всех про утро), «Зима», «Вечер»...

В весеннем сборнике – Блок: «Гроза прошла, и ветка белых роз...» Зимой Есенин, конечно, его пресловутая «Белая береза...»

В «Приметах осени» обязательно было стихотворение Бальмонта:

*Поспевает брусника,  
Стали дни холоднее,  
И от птичьего крика  
В сердце только грустнее...*

А у меня ведь день рождения осенью. Да, осенью. И на одном из своих дней рождений там в деревне я увидела столько же клиньев журавлей, сколько мне в тот год исполнилось лет. При пересчете на журавлиный, ровно двадцать четыре долгих клина. И потом клинья только прибавлялись.

И с Алексеем мы увидели на рыбалке однажды тоже клинья. Ловить было уже невозможно, мы смотрели. Потом выпутывали зацепившуюся леску.

Пластинки деда я недавно нашла на антресолях. Единственное, что мне про моего деда известно (а мне про него очень мало что известно, к сожалению, как и об отце) это то, что он научился играть на мандолине.

Не на гитаре или как его старшая дочка, мамина сестра тетя Люся, не на аккордеоне, а именно – он, видимо, собирался блеснуть! – на мандолине. И он виртуозно играл на мандолине. Моей бабушке посвящал, и не только по праздникам, стихи.

А мандолина ведь родственница лютни! А лютня ведь это трубадуры! И для меня дед остался менестрелем. Что нисколько не противоречило тому факту, что одновременно он работал токарем-фрезеровщиком на заводе Ильича.

Дед с товарищами по заводскому оркестру, с мандолиной. «Третий справа в пятом верхнем ряду Юлин дедушка Вася» – подписала моя мама.

У меня от деда еще остался такой необычный чемоданчик. Это чемоданчик-проигрыватель.

«Ригонда» была стационарным проигрывателем. И ее никуда не возьмешь, не унесешь. А это он был по форме похож на чемоданчик. И ты несешь его и как будто бы в командировку собрался. Но внутри, когда крышку откинешь, там пластинки.

Корпус этого старинного электрофона-проигрывателя называется «Юность-307». Состояние, конечно, потертое. И механизм уже давно износился, все такое. Но на 78-ми оборотах еще тянет. И можно послушать пластинки 1946-го или 1948-го года выпуска.

Я очень люблю роман «Приключения Весли Джексона» американского писателя Уильяма Сарояна. И там звучит песня «Валенсия»: «Валенсия!..» И вдруг я ее в стопочке этих дедовских патефонных пластинок нахожу.

В другой книге у моего любимого Сарояна я читаю, а там главный герой армянин и его зовут Арам, как он спрашивает у своего двоюродного дяди: «А ты помнишь моего отца на улицах Битлиса? Ты помнишь? Ты видел его? Ты видел, как он ходил по ступенькам и по улицам этого города в горах?»

А мне и спросить о том, как мой папа ходил, даже по этим все шпалам железнодорожным дурацким на той самой единственной фотографии, кроме мамы, не у кого.

И все эти воспоминания для меня, как огонек в медицинской пузатой старой банке. Когда наматываешь медицинскую ватку на спицу, окунаешь кончик в спирт и потом эту зажженную и горящую на кончике спицу опускаешь внутрь банки.

«О, где ты, о, где ты, фотограф Листопадов!..»

Нашла свой школьный дневник метеорологических наблюдений в третьем классе.



В графе «ноябрь» там задаются такие вопросы: «Ты заметил, когда вечером зажгли электрический свет?» «А куда исчезает дождевая вода?» Ну, вот куда исчезает эта самая дождевая вода?! Тридцать лет прошло, а я думаю над этим.

Получила недавно открытки с впечатлениями о посещении нашего деревенского зоопарка. И мне тюменские школьники в них пишут: «Эластичные выдры у вас! А у сов-то глаза все навыпучку, пронзают!»

«Вы назовите волчонка, если у вас вдруг появится волчонок и этот волчонок у вас еще внезапно окажется девочкой – Тайга» Или: «Осень – это как будто бы у попугаев идет линька...»

И сурикатам они, конечно же, передали напутствия, приветы: «В холодный и пасмурный день вы давайте-ка поскорее укройтесь и согрейтесь!»

«А я считаю, что от осенней хандры хорошо помогает именно неряшливый дом и множество по этому дому разбросанных каких-нибудь ярких вещей, фруктов»

«Хорошо, когда дома пахнет куриным бульоном или сладким сиропом топинамбура. Вы пробовали когда-нибудь этот сладкий сироп из топинамбура?»

«Отлично, когда пахнет кремом от маминых рук, хризантемовым засохшим букетом, принесенным мамой с рынка. Даже запах сгоревшего тоста на кухне мне внезапно доставит удовольствие!»

«И у меня есть способ избавиться от утомившей всех бессолнечной осенней хандры: это дзюдо!» «Когда мне грустно, то я могу настроение улучшить шоколадкой!»

«Тоска по минувшему лету, которым ты и надышаться-то толком и вдоволь не успел, может стать в какой-то момент такой ощутимой, такой близкой, что человеку, как и сурикату, конечно нужна сейчас поддержка»

И приятель тот с далекого Рижского взморья мне сейчас пишет: «Если к тому времени, когда ты мне напишешь ответ, мы еще не снесем кусок забора, на котором висит почтовый ящик, может быть, получу твое письмо...»

«На нашем мраморном черном полу утром легли лепестки львиного зева...» Бандероль, проштампованная почтой, как хранимые мамой тети Люсины письма из Китая.

Сура обожествил батарею, и каждый вечер он теперь обнимает и обнимает батарею. А у меня старая, и она еще с основания дома, батарея.

И это именно чугунная батарея, в ней семь «ребер». И Сура, он у меня каждое чугунное ребрышко обнимет. И особенно третье, которое с левого края, ему нравится.

Батарея ему, наверное, заменяет сейчас солнце. Ведь Африки из окна пока не видно. И мы пьем в такое безысходное время витамины, подключаем специальную ультрафиолетовую лампу.

Над тазом с песком у нас включена эта самая ультрафиолетовая лампа. И сурикаты под этой лампой играют и копают. Они наиграются и привалятся к бортику песочницы. А потом они разыграются снова, и песок у них вылетает из-под лап.

И я песок им покупаю речной. И он, возможно, что даже с речного песчаного обрыва, когда еще там оголенные и перекрученные и переплетенные корни у сосен нависают обычно немного над водой.

Еще есть в сурикачье песочнице песок, которым бабушки деревенские греют зимой ноги. Песок они для начала прокалят на огне, а потом ноги в таз с песком опускают – будто в лето.

Песок с вкраплениями от ракушечек моллюсков. Песок от берега маленькой реки, когда привязана к дереву походная кружка алюминиевая. Подошел к реке, кружку снял, воды попил.

Песок у берега утрамбованный грибниками, лесниками. Песок, пропитанный запахом речки, ряби, ряски.

Пересмотрели (и тоже все для поднятия морального духа) знаменитого «Короля льва» по интернету. Как дождь после изнурительной засухи, для нас эта музыка саванн. Пронзительное и колдовское начало в «Круге жизни». В «Лев спит» мы тысячу раз подпевали: «Ви-и-иии...»

Мы переслушали «Времена года» Чайковского от любимого Валентина Анатольевича. Сура, я помню, долго слушал. Когда слушал, он блаженно разлегся на диване. Звучал один из самых любимых у нас у Чайковского месяцев – июнь...

Потом поставили «трррр-ча-ча, трррр-ха-ха, трррр-вумба!» еще одного нашего африканского певца и кумира – Африка Симона.

Аудиофайлы с шумами африканской пустыни – на контрасте после этих зажигательных танцев. А там тихо и лишь песок там по

барханам шумит, как когда-то на моих детских любимых пластинках «Кругозор».

Эти пластинки выходили при одноименном журнале – «Кругозоре». И на этих пластинках – голубых, как пласты какого-нибудь древнего льда (а древний лед он действительно, как все ученые говорят, очень синий) многие репортажи и песни придумал Юрий Визбор.

Юрий Визбор писал тогда об Арктике: «Наверное, нет в Арктике такого дома, такой стены, где бы ни висела фотография любимой...» И звучит песня.

Или: «Это страницы из лирического дневника, написанного в Арктике на Земле Франца-Иосифа, которую еще называют ЗФИ...» И было слышно поскрипывание снега на льдине, дыхание идущего по ней человека, вой метели.

Тая продолжает и продолжает грызть плинтус по всей кухне. Она перегрызла уже мне все фабричные сорта ДВП и ДСП. Она обсасывает мне дужки очков (и их изгрызла!).

Лексус катается сейчас на стеклянной и заранее уже опустошенной бутылке на полу. Ему нравится на ней балансировать. И особенно на бутылке, где 0,7. И я его иногда еще называю – «007».

Он любит выкатиться к гостям верхом на опустошенной бутылке из-под красного (он предпочитает или полусладкое белое или же красное сухое). Он балансирует, как знаменитая Девочка на шаре.

Причем он любит выкатиться в самый неподходящий момент. Вот пришел слесарь... И я его закатываю легонько под стол (ну, не слесаря, а как вы уже хорошо понимаете конечно – попугая), он обратно. Потому что ему очень хочется внимания.

А какая у меня обнаружилась и нашлась сейчас открытка! Сувенирная открытка Михайловского! Из той первой моей, еще школьной поездки, в третьем классе. И на ней и листопад и рассвет. Все так, как надо. И фамилия у фотографа – и это чудо конечно! – Листопадов!

Я из амбара тогда переехала в деревню, расположенную недалеко от Михайловского. И Валентин Анатольевич и Валентина Ефимовна заходили ко мне на кофеек.

Турку ставили на конфорку, на плиту, она стояла в сенях возле старого красного газового баллона. Чтобы газовую плитку включить, надо было на этом баллоне крутнуть вентиль.

Спички лежали на крышечке от деревянной солонки, отсырели. Сама солонка была с уже давно затвердевшей старой солью.

И мы эту затвердевшую соль, перезимовавшую у нас в пустом доме не одну зиму и оправдавшую уже давно свое магазинное название, что она «каменная», чуть ли не молотком, когда надо было почистить солонку, отбивали.

А перед домом сверкали ноготки. На чай, помимо листьев уже привычной нам черной и красной смородины, малины, мы заваривали необычную монарду.

Настурция росла у нас на крылечке в старой кадке. И на салаты мы нарезали кинзу (свою кинзу!). И еще одну волшебную травку, которую можно было бы уже полюбить за одно ее название! Спроси меня, какая в деревне у меня была самая любимая травка – любисток!

Разросшуюся на участке траву и в первую очередь это были, конечно, одуванчики, и притом одуванчики толстенные, переполненные своим белым млечным соком, мы скашивали ручной деревенской косой, а не триммером, как сейчас все вокруг косят.

Коса у нас на чурбачки попадала, застревала (чурбачки были возле поленницы раскиданы). И ты снимал тогда с самого кончика косы, с острия косы эту древесную, а иногда уже даже немного трухлявую добычу.

И иногда еще попадался в траве шифер. Обязательно, когда ты косишь на деревенском участке, тебе попадетсся этот шифер. Или ты наткнешься еще на старый кирпич, наполовину уже тоже вросший в землю.

На кирпичи, переплетенные корнями травы. А когда выдернешь, в нем обязательно будет какой-нибудь мелкий муравейник.

Фундамент нашего дома просел, и он почти уже соприкоснулся с землей, дом очень старый.

Сквозь трещины на этом старом фундаменте все лето у нас прорастали водосборы. Настолько уже укоренившиеся на этих стареньких плитах на фундаменте, что они прорастали у нас иногда уже даже разных оттенков. Водосборы у нас были синие и красные.

Бревна были проконопачены мхом. И этот мох у нас уже тоже изнашивался. И мы подновляли этот старенький и рассыпавшийся уже на частицы сухой мох все время новым (для уплотнения необходимо иметь набор стамесок).

Бревна дома достались нам после войны. Это были бревна от разобранных после войны блиндажей. Они слышали немецкую речь. Не воевали, но во время войны по обстоятельствам переходили из рук в руки. Они побывали у немцев в плену, а потом вернулись к нам.

Бревна были в дырках от жуков-древоточцев (есть такие). Зимой за этими бревнами у нас жили мыши – пазовицы (они потому и зовутся пазовицы, что они живут по пазам, а пазы это щели между бревнами).

В сенях в эти огромные бревна вбиты скобы. Они служили нам как лестница на чердак. По ним можно было забраться на чердак, на котором пахло все время каким-нибудь позабытым матрасом, старым сеном. Чемоданом, обклеенным пожелтевшей газетой изнутри. И можно было открыть чемодан и узнать все хранящиеся новости.

Стояли ведра с комками засохшей старой глины (глину мы приносили, чтобы заделывать щели на печке, но забыли). И зачем-то там еще лежало корыто, и оно просушилось насквозь солнцем. И рыжие пятна на нем, как нам казалось, образовались уже не от ржавчины – от солнца.

И там висели еще какие-то веревки и бечевки. И поднимались из вековой пыли столбы солнца, на которых и держался, стоял этот наш деревенский Парфенон.

Деревянные полы в сенях были из широких гладких досок. Полы были покрашены суриком – этой знаменитой деревенской рыжей краской. И мы ходили по этим «сурикатным» полам потом все лето.

В сенях и в коридоре прохладно. И в противовес этой летней блаженной прохладе коридора в разгар лета, в самое высокое температурное лето, до того что можно было пятки обжечь, раскалялись ступеньки на крыльце.

Золотые шары, эти жирафы деревенских садов, дотягивались своими золотыми верхушками до яблок. На соседский забор облокотятся. Ты нагнулся шнурок завязать и золотой шар тут же рядом наклонился. Склоненные спины людей, перебирающие в огороде под осень картошку, и шары.

И сколько клумб во дворе, а все равно заносили цветы в дом! И ставили цветы во все вазы, во все банки. Воду выльешь потом после

флоксов и пионов, а она вся такая немного болотная и пахнет. И длинная жердь у нас еще стояла в сених – яблокосъёмник.

Весной приедешь и вынесешь перезимовавших в доме бабочек. Они за занавеской скользили, ища выход. А на улице еще на какое-то время задерживались у тебя на ладони, прогревали свои крылья.

Они распахивали «глаза» (у шоколадниц они с синей обводкой). Нарисованные на крыльях у бабочек «глаза» деревенские бабушки иногда еще называли все ласково – «глядельце».

На улице, где солнцем уже все обжито, одуванчики. И хочется быть чаще на улице, чем в доме.

На кухонном столе у нас клеенка была, очень старая и какая-то вся липкая, прилипчивая. Ну, как ты ее не протирай! Она прилепилась уже, наверное, навечно к столу, не отдерется.

И мы новые клеенки тогда постоянно стелили поверх старых. Эта с розочками – тысяча девятьсот девяносто такого-то года, а вон та, с уже нарисованными на ней кофейными зернами, новей.

И я на этой старой клеенке очень часто писала маме письма. Бумага влажная была, отсырела (если дожди уже давно зарядили или печка не топилась). Пока ты ручку распишешь, вся бумага будет в дырках.

И я писала о том, что синицы полюбили качаться на веревке, привязанной у нас перед домом к старой яблоне. Про костровище (а оно белое после сорванных ветром лепестков).

«Хотела пойти, а бабочка села на ногу, и я стою не могу пошевелиться», «в птичьих гнездах на берегу у реки можно было найти обрывки лески»

«Лес стоит в тумане и дымке из-за оттепели», «вечер при керосиновой лампе, хорошо!» «Когда мы слушали все дождь на крыльце, почему-то потянуло и запахло в сених куриным супом...»

«Над белыми ветреницами – капустницы...», «Кружение лимонниц... А это мне на свитер сейчас накапал сок»

«Промокли кеды в ручье», «нашла гнездо певчего дрозда» «теплый вечер, сжигаю смородиновые ветки»

«А как ходил вчера прилетевший уже аист по полю, как взлетел!...» «И мышкующая по полям сейчас лиса, она как охотящаяся на глубине реки в засаде щука»

Засыпая, я видела звезды и деревья. И я слышала, как падают яблоки на крышу. Как проносятся на велосипедах рыбаки. И даже как они чиркают спичкой все, закуривая.

Дом прогревался за лето одновременно с землею и с травой. Одновременно и с раскаленным на крыше рубероидом. А рубероид весь на крыше истрепался. И казалось, у крыши идет линька.

Крыльцо у нас пропахло купальником – он постоянно у нас после речки там сушился.

Перила крыльца были старые, иссохшие. Во время дождя вода во все щели попадала. А не вошедшую воду можно было с перил смахнуть рукой.

Валентин Анатольевич во время дождя каждый раз приносил нам с прогулки белый зонтик. И шляпка этого белого зонтика – гриба была размером со сковородку, не иначе!

Милиционеры во время дождя смотрели на барабаниющие от воды жестяные водостоки. Как ручьи от водостоков бегут. И как пузырится каплями река, да и земля. А иногда они еще вставали под дождь и умывались.

Цветочные часы у нас были в парке. Это клумба. И там каждое деление клумбы распускается к определенному часу. И мы по этим распускающимся цветочным часам отмеряли и обозначали свое время.

«Ромашки спрятались!» – укорял меня за опоздания Ганнибал. А Алексей говорил: «Поникли лютики!» «Старинные часы еще идут...» – напевал Валентин Анатольевич у клумбы.

Кордон Пети Быстрова в лесу... Его кордон стоял на роскошной и светлой поляне среди леса. Крыша бани у Пети давно заросла зеленым мхом.

Петя подтапливал баньку уже отслужившими свое и изрядна истрепанными вениками, они взрывались от накопленной сухости в огне. И дым по лесу гулял, густой и рыжий. Он был рыжий из-за всей этой дубовой листвы. И мы заранее все знали уже, что на кордоне сейчас Петя топит баню.

Дымок по лесу петлял, когда Борис Константинович Ганнибал раздувал в лесу костер. Дым шел, когда Валентин Анатольевич в своей мастерской, расположенной на поляне Поэзии, выжигал иглой по дереву.

Дым шел, когда рабочие в парках сжигали старые яблоневые ветки. А после бани, и это особенно осенью, от тебя самого идет парок. И дождь, который вокруг тебя моросит, не замечаешь.

Банька маленькая у Пети была, очень старая, продымленная. Помимо веников, в ней пахло когда-то кем-то позабытым шампунем и железом.

В каждой бане обязательно будет пахнуть этим кем-нибудь позабытым когда-нибудь столетним шампунем и железом – пахнуть ведрами с оцинкованным железом. И вода из колодца у Пети была тоже с железом, ну то есть с большим содержанием железа. И особенный воздух был в той бане.

Стиральная машинка – «малютка» перестирывала на несколько деревень. Петя никому не отказывал.

И Петя и Валентин Анатольевич еще очень часто гуляли после бани. По вороху из опадающих листьев. Босиком! Земля мягкая, горьковатая, прохладная, лопатки у всех этих листьев опавших выступают. А налипнет на голые пятки земля, Валентин Анатольевич ее о пенек аккуратно, гладко снимет.

Вокруг кордона были у Пети расставлены картины. Ведь Петя он тоже художник и перерисовал очень многих сотрудников Михайловского. Многих дворников, столяров и сторожей, о которых никто и не помнит. Петя помнит.

И на одной из картин у него был изображен такой дядя Вася Свинуховский. Свинуховским его так называли, потому что он был из деревни Свинухи. А работал он в Михайловском дворником. И на картине у Пети он метет. Картина к дереву в осеннем лесу прислонена, и все листья под ноги герою опадают.

Была там и Валентина Ефимовна Терешкова в своем кресле. И Пушкин, нарисованный необычными красками – светящимися. Они накапливают днем солнечный свет и в темноте его потом отдают.

И эта Петина картина светилась. Ну и вечерами, конечно, светился его Пушкин. И много припозднившихся грибников и рыбаков выходили вечером на этот мерцающий свет и становились ведомыми поэтом.

И даже больше скажу: у себя здесь в заброшенном лесу, среди елок, ошестинившихся понизу сухими и в глаза всегда лезущими ветками (их хорошо еще собирать на растопку), среди зарослей ежевики и брусники, Петя соорудил и поставил памятник Семену Степановичу Гейченко – из веток. И на ладони у Гейченко и на его голове гнездятся птицы.

У Пети много подобных деревянных сооружений. Из старых веток и пней. Из лесных выворотней. Из комлей спиленных или



ветром поваленных деревьев. Его герои в буквальном смысле этого слова все вышли корнями из Михайловского.

Как и книга знаменитого собирателя здешних трав и корней Ганнибала – «Природа наш кабинет» (и это тоже ведь цитата из Пушкина). Это книга с описаниями растений, цветов. Ведь Ганнибал сюда не зря приезжал!

И у него там было такое начало в этой книге: «Наш путь, – он заранее предупреждает читателя, – пойдет сейчас по песчаным лесным тропам. Не исключаются различные погодные ситуации: дождь, град...»

«Но мы не будем, но мы не будем рассматривать это как помеху! Наоборот, все эти естественные проявления природы будут включаться в канву наших каких-нибудь научных бесед и, я не исключаю, что даже дискуссий или споров!»

Хотя какие, скажите мне, могут быть споры с Ганнибалом! Только если это споры растений (каламбур).

«Мята полевая – обязательно ее нужно размять и понюхать!» – он там пишет. «Поляна Поэзии как отдельное растительное сообщество» – глава.

Потом идут перечисления и перечисления мхов через всю книгу. Моя мама, когда приехала меня сюда навестить, то написала: «Меня поражает здесь обилие мха, разнообразие мха, его всяческих форм, его видов и оттенков...»

И эта книга она еще оказалась созвучна письмам Гейченко. А он часто упоминал о деревьях в своих письмах.

«У дерева бывает простуда, – он писал. – Дереву может быть одиноко и печально. Дерево в старости тоже нуждается в заботе»

«Пулевые ранения я находил у деревьев, их десятки» (а Гейченко он сам фронтовик, прошел войну).

И Алексей, мой тамошний деревенский приятель, мне рассказывал, тот Алексей, который родился недалеко от Савкиной горки, на которой мечтал пожить Пушкин.

Он рассказывал, что после войны он находил много пуль и осколков в чурбачках. В деревьях, которые были привезены на дрова. Когда топор натыкался на осколки.

То есть дерево, оно прикрыло и заслонило собою когда-то от пули человека.

«Не знаю, на чьей стороне воевало это дерево, но человека спасло» – так мне говорил Алексей. И только вот на деревья и надежда.

Стволы старых яблонь и лип настолько давно обросли уже лишайниками, что казалось, что это спины коней, когда их гладишь.

Корявые и изогнутые стволы в саду у яблонь с жетонами, полученными от лесопарковой службы музея: «507»... И я дружила с этой яблоней под алюминиевой биркой – «507»...

Борис Константинович Ганнибал, когда сюда приезжал, то он обычно гулял среди деревьев, посаженных в парке его предками. Он был опоясан корневою системой родни. Все его генеалогическое древо перед ним, когда он шагал по аллеям, расстилалось.

Борис Константинович иногда спотыкался о крепкие и мускулистые корни своих родственников. А подберет у обочины желудь и вот, кажется, что он скажет сейчас, что он тоже его брат.

А видели бы вы наши чабрецовые берега на косе между озером и речкой! Малинового цвета земля! Цветет чабрец! И лежа на земле, мы ножницами нарезаем чабрец. И мы им дышим.

Коровы из соседней деревни с нами рядом. Молоко дедовских коров (потому что деревня называется Дедовцы) чабрецом из литровой банки пахнет.

Дорога малиновая из-за цветущего на ней чабреца. Трава колкая, когда чабрец отцветет. И именно вот этот простор у реки и вот это тепло от земли и вот этот чабрец я полюбила.

С берегами, огражденными тонкой ниточкой от электропастуха. И коровы там, конечно же, оставляют свои кучи, постепенно вырастающие в землю и сливающиеся с этим цветущим повсюду на поле чабрецом.

И обязательно еще горячий песок на песчаной дороге в жаркий полдень. Песок, поднырнувший тебе на какое-то мгновение под пятку. Песок, проскальзывающий у тебя на сандалии сквозь пальцы.

Есть в нас небольшая частичка сурикатов, когда ладонями погружаемся в песок, когда сандалиями погружаемся в песок на этих горячих еловых, сосновых опушках с муравейниками.

«Соловьиный полуостров, – так мне часто говорил о косе Алексей, – соловьиный полуостров...» Потому что там пели соловьи.

К берегу были привязаны алюминиевые лодки и дюралевые. А деревянные уже давно все разошедшиеся, старые. Они стоят наполовину в воде.

И я у берега однажды увидела рыбачку. Она ехала на велосипеде к реке, и я у нее спросила время.

Я запомнила: она достала часы из маленького спичечного коробка (спичечный завод Балабаново, как в детстве). И мне кажется, что в этом спичечном коробке хранилось не только ее, но и возможно, что даже немного мое счастье.

Сейчас вспоминаю о воздухе предосеннем и осеннем. Как на него перестраиваются легкие, как они впитывают в себя после жаркого лета горечь листьев, сладость яблок, начинающих свой терпкий путь разложения, падения, превращения в эту сладкую субстанцию падалицы. Когда яблоки как-то быстро все мягчают, выставляют свои с коричневыми пятнами бока и их расклевывают, и как раз в этих местах, птицы.

И ты на эти яблоки наступаешь (всегда жалко!). Но многие еще на ветках висят и тебя утром встречают на крыльце. Яблоки твои утренние товарищи весь август.

Яблоки в урожайный год у нас повсюду. Ветра не было, а яблоки падали и падали. Вымытые банки сушились на ветках старой яблони, и казалось, что золотые шары, как и яблоки, внутри. Яблоки шлепали, как бобры, по днищам лодок.

И осень еще время борща. Мы постоянно все готовили борщ. Между нами кочевала легенда о легендарных борщах и кулинарных способностях Семена Степановича Гейченко.

О том, что он никогда не стеснял себя рецептами. И готовя борщ, он мог спокойно сорвать с ближайшего дерева рябину (черноплодку) и добавить в кипящую кастрюлю.

Ну и мы все повторяли за ним. Соревнование у нас даже шло среди борщей. И Петя Быстров он добавлял постоянно в борщи сливу. Валентин Анатольевич или грушу или черноплодку-рябину или яблоко.

Валентина Ефимовна, если ей не забывали привезти на кордон в бидонах воду, добавляла все время ежевику. Наваристый у нас получался борщ у всех, с кислинкой.

Свекольный лист был с разбегающимися по нему красными венами прожилок. Этот лист он как протянутая тебе на прощание

рука лета. И ты мог или поддержать или даже удержать это уходящее лето за запястье.

И этот холодок сентября, и это солнце. И наколоть еще обязательно растопку. Чтобы тонко и чтобы было как карандаши. И огонь, он ведь не просто огонь для того чтобы приготовить еду, а вот именно чтобы еще согревало и трещало.

И возвращаешься вечером через усадьбу, огонек. У Валентина Анатольевича на поляне Поэзии огонек. Не угасал у нас там на поляне Поэзии огонек! Костровище поблескивало углями.

И возвращаясь вечерами домой, я, конечно же, все время ждала, когда появится свет на кордоне у Валентины Ефимовны из дома. Увидел свет из ее лесного окна, и хорошо.

А один раз я ночевала на Савкиной горке. Без костра. И видела, как поднимался туман. Почти до горки. И здорово, когда идешь от реки, и какой-нибудь рыбак подойдет, головою тебе молча кивнет и пойдет дальше.

И тысячу раз еще вспоминать тоже можно, как гроза и вороны застыли, сидят на крыльцах мельницы. И застыли у речки рыбаки, они сидят у реки на пеньках под накинутым с головой полиэтиленом.

А один раз я купалась под мельницей ветряной и повстречала цыганку. Она ловила там на донку лещей и одновременно курила «Приму-Неву». И я запомнила, что вот именно эту «Приму-Неву». У нее была такая еще красная пачка. И она из тумана промелькнула.

Я помню, как осенью занесла с огорода кочаны. И тут же запахло дождем, капустным соком. И этой срезанной кочерыжкой. И шарами, золотыми шарами, склоненными до самой земли.

И мы почувствовали, как все-таки быстро закончилось лето, да и осень. И все эти бабочки-капустницы, болтающиеся над кочанами капусты, и улитки.

Из сеней потягивал сквознячок, по углам пылали янтарные тыквы (мы сложили). А в опустевшем саду были свалены старые и никому уже не нужные доски – изогнутый дугою горбыль.

Я полюбила сейчас такое новое и популярное течение видео в ю-туб, называется – бушкрафт. Когда люди гуляют неторопливо и, как правило, еще очень молчаливо по лесу, а ты смотришь. Куда они по лесу идут, когда свернут.

Они приходят воды набрать в чайник, а вода в реке замерзла. Они раскалывают носиком от чайника лед, опускают в воду термос. И слышно, как вода заливается там в горлышко.

И мы с Ритой смотрим и смотрим – интересно! И сегодня к нам Сура подключился. Сурикат-мальчик он все-таки должен уметь развести в лесу огонь!

«Островок» – моя любимая магнитофонная песня с сельской ярмарки. Эта ярмарка в конце сентября и из динамиков на ней постоянно дребезжало: «Островок, щедро мне подаренный судьбою, островок...»

«А белый лебедь на пруду качает павшую звезду...» – была любимая песня у охранников.

«Есть в саду ресторанчик отличный...» – пели мы под гитару с Алексеем. Мы любили с ним собраться тоже обычно под осень в саду, порассуждать: а немало ли насолили к зиме груздей?

И я помню, что в одно время с посадкой зимнего чеснока в огороде сеял дождь. Щука, как рассказал мне тоже однажды под осень Алексей, с холодами уходит в глубокие ямы. Вслед за щукой и люди все стихают.

Мама Алексея любила покачаться в гамаке из рыболовных сетей, тоже под осень. Я ей что-то рассказывала, «я сейчас за тобою запишу» сказала она и стала водить своим указательным пальцем по ладони.

И еще мне его мама рассказывала, что бабушка Алексея, когда Алексей уже родился, пасла на берегу озера Маленец коров. И вдруг она видит, что к ней через весь этот Маленец и чуть ли не прямо к ней в руки плывет заяц.

«Бабушка подошла тогда к берегу озера и этого зайца взяла. «Вот почему он бросился в Маленец, переплыл его и запрыгнул к нашей бабушке в руки?» – все время спрашивала меня, пересказывая мне эту историю, с удивлением мама Алексея.

Мама Алексея получала на поляне Поэзии пенсию, когда еще работала почта. И она еще получала там посылки. Получить на поляне Поэзии посылку! Мне кажется, что это вообще мечта поэта!

Поляна Поэзии была очень редко многолюдной. На ней обычно пасся конь Герман. И кроме коня и Валентина Анатольевича, по-прежнему в его этих тапках домашних, никого.

Но там была сколочена сцена для торжественных редких выступлений. И все пространство под сценой зарастало. Хорошо было на этой деревянной сцене лежать и смотреть в небо.

Возле реки я увидела однажды овец. И мне тогда показалось, все обычно. И только потом, приглядевшись, увидела – скворцы! Они расселись все по спинам овец и в шерсти грелись.

На грудь нашим зоопарковским лебедям в листопады налипали огромные багряные или желтые листья, как медали.

Одно из объявлений, вычитанных мною в пушкиногорском Вконтакте – «продам ус» (и речь идет здесь о клубничных усах).

«Голову от таза с бельем поднимаю – летят гуси» – я написала когда-то маме в письмах. «Выкопать засохшую розу и отпилить засохшие и старые ветки у яблонь – всё дела!»

И дом Довлатова из знаменитой повести «Заповедник» сохранился. В нем жила наша Вера Сергеевна, она дачница. Она спала на кровати Довлатова (кровать была с панцирной сеткой). Она смотрела в окно, в которое Довлатов глядел.

Стены этого старого деревенского дома у нее (и здесь также огромный привет Ганнибалу!) были оклеены пожелтевшими газетами. В доме все перекосилось, накренилось (хотя так и при Довлатове было).

Но наша золотая Вера Сергеевна не боялась. Она стояла на перекошенных досках крылечка босиком. Была всегда загорелая, смеющаяся. И вся в пятнышках из-за рыжего сока чистотела. Она утыкивала себя этим клоунским соком чистотела и становилась прямо как Солнечный клоун Олег Попов.

В котомке у нее было мыло: «Моюсь-то я земляничным на земляничной поляне обычно. Ну а каким еще мне на земляничной поляне мылом мыться!»

Через сумку у нее было перекинута полотенце, чтоб купаться. И она часто возвращалась с реки, обмотав это мокрое полотенце вокруг бедер. Или у нее еще были такие невесомые, юбки (и как правило, индийские).

И по дороге она собирала полынь, одну полынь. И ты идешь, и ты вначале-то Веру Сергеевну не заметишь. А увидишь только вот всю эту полынь, а потом уже через эту полынь Веру Сергеевну.

И она еще писала стихи (она была преподавателем русского языка для иностранцев):

*Аллея Керн, аллея старых лип.*

*Как змей тугих, ветвей тугих изгиб...*

И тысячи крынок, и все, конечно же, с полевыми цветами, у нее стояли в доме. Рабочий стол был завален красной и, конечно же, черноплодной рябиной. Ее Вера Сергеевна собирала.

И молоко ей соседка оставляла. Молоко теплое. После купания молоком этим согреешься.

Вера Сергеевна любила у нас отломить от большого капустного кочана хрустящий лист и, пожевывая его, объяснить, что она из принципа никогда вот не готовит салат, что ей некогда готовить салат: «Не готовлю! — она нам так всегда объясняла. — Не нуждаюсь!»

А одна из самых бесшабашных идей, бродивших в умах у некоторых сотрудников заповедника, такая: тридцать три вырезанных из пенопласта богатыря крепятся грузом на дне озера.

В нужный момент, когда туристы идут, груз отпускают. И богатыри, покачиваясь немного на этой платформе, вверх взмывают. Все раскрашенные. И во главе со своим старым дядькой Черномором.

Ну и самое, наверное, главное, это то, что когда я уговорила Алексея на нашу с ним единственную ночную рыбалку, была осень.

И мы с ним покружили по озеру, потом вытащили лодку на берег. Разложили костер, но не сильный, только тлеющий. Время от времени к озеру выходил сторож и светил нам фонарем.

### Археологические наггетсы

Рабочие в парке зимою выпиливали наклонившиеся опасно деревья (наклонившиеся под тяжестью снега). Чурбачки они потом вывозили, а все никчемные веточки сжигали. И их костры оставляли огромные пятна до дерна растопленного снега.

И плюс еще — вся поляна Поэзии в тумане (обязательно это будет, когда оттепель). И туман хорошо идет к поэзии! Заснеженные крыши домов зимою с трубами — они как дыхла у всплывших продышаться китов.

А потом пришлось вернуться в Москву. И вернувшись в Москву, я, конечно же, искала работу. Музей леса?

Была вакансия в музей тишины, и мне показалось, что я почти прошла, ответив на все сопутствующие вопросы на сайте: «А давно ли вы были в тишине? А какими мы станем в тишине? Ну и самое главное: а что захотим мы услышать после этого?»

Нашла вакансию, уже и не помню куда, где в графе про обязанности, требования первым пунктом обозначено было: «поиск информации о чудесах в жизни людей». И я искала.

Была возможность еще поработать немного курьером у фотографов (ну там, наверное, подносить им фото пленки). И вроде бы уже все, договорились, но мой будущий шеф, один из знаменитых фотографов дикой природы и животных, мне неожиданно написал по ватсапу, что «не могу сейчас с тобой говорить, мы всей компанией, ну, то есть всем трудовым коллективом, на вулкане»

И в Исторический музей я тоже попыталась попасть, чтобы подметать там исторические ступени. Опоздала. Правда, на телефонный звонок мне ответил человек с историческим именем и отчеством – Ярослав Игоревич. Ну а кто еще мог мне там ответить?

Была вакансия выхаживателя ежей, я не шучу! Надо было выхаживать ежей, выпаивать молоденьких ежат из бутылки (я умела!). Но, к сожалению, эта вакансия слетела.

Очковтирательство прошло также мимо меня (и опять я не шучу!). «Приём на работу только после прохождения курсов и экзаменов по протиранию оправ и очков» – было написано в воззвании.

Я пролистнула Ботанический сад, там вакансий почти нет. Пролетели Коломенское и Царицыно впустую. Царицыно я помню еще не отстроенным, заброшенным. У нас там на физкультуре зимою были лыжи.

Хотела устроиться дворником, но дворники в парках сейчас почему-то все ходят с огромной страшной пушкой. И постоянно сдувают ею листья. Вот зачем-то они постоянно сдувают эти листья!

И костры сейчас из листьев не жгут, а собирают и собирают в мешки. И расфасованная повсюду трава, раскатанная из привезенных рулонов и не успевающая в землю пустить корни. Все не так, как когда-то было на наших зеленых лужайках с Одиссеем.

И вдруг на мой телефонный звонок откликнулся администратор музея Востока и пригласил меня к себе на Никитский бульвар на собеседование. Во внутренний дворик музея, где среди вынесенных на лето цветочных горшочков стоит слон.

И я наподписывала там кучу бумаг в отделе кадров. Мне сразу выдали там три карандаша как новобранцу.

Один карандаш был с надписью про тысячу ли («путь в тысячу ли начинается с первого шага», Лао-Цзы). Второй со



стихотворением Басё («из сердцевины пиона медленно выползает пчела» и все такое). Ну а на третьем, и мне его лично вручил уже сам администратор, было нравоучительное изречение Конфуция.

И самое главное, что я попала ведь не просто в музей, а в мастерские. Меня взяли в реставрационные мастерские музея Востока. В мастерские!

А как я до этого себе вообще представляла мастерские? Мастерская у Пети Быстрова на кордоне, мастерская у Валентина Анатольевича на поляне Поэзии в Михайловском...

У меня в деревне была у друзей галерея-мастерская. Ее окна выходили на старый деревенский прогон и старый сад. Перед галереей у нас стоял вырезанный из фанеры арап, сверкая саблей. На африканском слоне, тоже вырезанном из фанеры и раскрашенном, замирала птица Сирин.

Слон был красный и с подведенными синими глазами. На треуголку размахивающего саблей арапа в саду осыпались летом яблоки. А иногда они застревали в его сабле.

Моей обязанностью было зимой занести под навес эти фигуры. Поставить слона рядом с летними и ненужными пока еще летними вилами, граблями.

Я помню банки, в которых художники полоскали свои кисти. Обогреватель, пахнувший раскаленным железом — калорифер. Деревянный чертежный планшет, иссеченный макетными ножами.

Стружку от заточенных карандашей (все — кохинор). Тряпочки для вытирания кистей. Сами кисти. И как тряпочки, промасленные во всех разбавителях, сжигались. С синим пламенем.

Помню Олю, одну из художниц галереи. Ее силуэт за нашим уличным рабочим столом. У нас стол стоял в саду. Хорошо было работать в саду! До галереи надо было спуститься от нашего старого деревенского дома по тропинке. И пока ты идешь, ты увидишь: жасмин цветет, сирень...

В галерее было большое окно, ему нам отдали от старой деревенской веранды. Это окно состояло из множества маленьких делений. И каждое в своем деревянном переплете. Стеклышки держались на гвоздиках. И они, конечно, держались еле-еле.

Сонные мухи заползали под осень погреться в переплеты, под все эти расщелины на рамах. И казалось, что в каждом окне, когда смотришь, в каждом вырезанном стеклорезом вручную переплете,

запылившимся стеклышке-квадрате, видна и идет какая-то особенная жизнь.

Приезжая работать сюда, художники оставляли велосипеды в нашем старом саду у старой яблони. А разъезжаясь, они вечерами включали фонарь и уносились, пересекаясь со спешащими на ночную рыбалку рыбаками.

Галерея была наполнена светом. И потом еще осенью и весной ароматом старой яблони. Галерея с моим любимым окном, покрашенным красной, синей краской. С кофейком, когда еще на ступеньках крыльца был в марте иней.

И вот с этими воспоминаниями о нашей старой сирени, старом саде, доме («В нашем старом саду...», как пели у меня на пластинке у мамы тоже в детстве). С воспоминаниями об окнах веранды, по которым колотили жуки, летя на свет.

И с открытками от художника Валентина Анатольевича. И с глиняной кружкой от Марика, обожженной и вылепленной им. И с картинами на кордоне у Пети Быстрова, прислоненными к деревьям, когда под ноги героям картин осыпались и падали листья, я попала в реставрационные мастерские музея Востока.

И как будто бы ничего не изменилось! Те же баночки для полоскания кисточек и кисти. Те же краски. И маленькие макетные гвоздики, холсты.

Бортовка – разновидность холщовой, льняной ткани. И струбцины – это такие крепления-зажимы (Валентин Анатольевич их использовал для разглаживания им подобранной коры).

Разложенные по баночкам гвозди, саморезы. А весной пыльца, а не пыль (а не пыль!) на подоконниках.

Мастерские музея Востока находятся на окраине московского Ботанического сада. Каштаны катапультировались осенью в своих зеленых колючих скафандрах на дороги. Сосны своими молоденькими ветками, похожими немного на ершики для кухни, то и дело заглядывали в окна.

Юрий Степаныч, заведующий музейными мастерскими, реставратор бумаги, старой графики, находившийся за этим окном, погружал огромные бумажные свитки в большую промывочную ванну.

На этих свитках, как когда-то на свитках тети Люси, все какие-то туманы, растуманы. И горные вершины, конечно же, спят во тьме ночной...

Юрий Степаныч на эти вершины пускал из крана воду. И сосны на свитках тихонечко погружались в эту воду.

Благодаря этому реставрационному отмаканию, замачиванию, как объяснил мне потом этот процесс Юрий Степаныч, со всей этой старой бумаги постепенно уходят налет и желтизна.

В мастерской реставрации по кости стоял запах зубоврачебного кабинета. Все сверлилось! Слоновая и моржовая кость, китовый ус.

Реставраторы по металлу очищали от налета и ржавчины клинки. Облепленные наростами глины, эти кусочки старинного металла лежали на реставрационных столах (и обязательно еще на подстеленной клеенке!). И, глядя на эти куски, можно было подумать, что это рыба в кляре.

Настолько эти кусочки этого порыжевшего металла напоминали по цвету панировку, корочку на подрумянившейся рыбке. Такие вот археологические наггетсы. Старинные мечи-кладенцы, рассыпающиеся, рассыпающиеся в прах. Ну а некогда безжалостно сносившие головы и не знавшие пощады.

И вспоминаю сейчас выставку знаменитого самурайского оружия (еще до того как я устроилась в музей). Когда все залы музея Востока были в таком в приглушенном темном свете, самураи появлялись из-за угла и их вылепленные на масках носы были с раздутыми от гнева и ярости ноздрями.

Устрашающе у них были вылеплены скулы. Пустые глазницы затягивали и погружали в себя (все в этом мраке). А отверстия под губы и рты были распахнуты. И как казалось, в каком-то предсмертном, диком крике.

Любимый музей у меня в детстве был военный. И для меня было важно, чтобы там были воссозданы окопы. И чтобы искусственный снег лежал на диораме в окопе, ппша.

Уж до чего я любила ппша! И что я нашла тогда в нем, кроме этого шипящего, как снег на перегретом стволе и постоянно куда-то в атаку зовущего названия?

И вот я нахожусь в мастерских. Ну и я, конечно, спросила. Я спросила! Ну а как я не могла не спросить у понравившегося реставратора Юры: «А самурайские мечи, а самурайские мечи у вас есть?! У вас ведь были, наверное, в реставрационной работе самурайские?!»

И Юра снял тут же с ближайшей полочки меч, бережно завернутый им в какую-то теплую фланельку. Он показал этот меч, он подержал его навесу передо мной. Он показал на бороздку на мече, по которой была проведена красная линия.

Это был обычай такой: если самурай завещал свой меч не своей семье, а храму, то храмовники проводили по долу клинка этой красной багровой темной краской. В знак того, что меч ушел на покой, и, дай бог, не узнает больше крови.

И в мастерской еще много банок, таких блестящих, как контейнеры для стерилизации медицинских инструментов (эти контейнеры они еще называются – биксы, сказал Юра).

В одной из баночек я разглядела фрагментики древнего меча. «Возможно, что это от чекана!» – сказал мне Юра. А я знаю, что есть такая птичка – чекан. Луговой чекан. Эта птичка она из семейства мухоловковых.

«Но нет, это, представьте, не птичка!» – сказал Юра. А чекан это такой древний воинственный молот и топорик. «Чтобы хрясь!», как мне Юра сказал (хорошо, не показал).

В мастерской по реставрации металла все рыжее: подоконники, за которыми растут наши сосны, и столы. Полы, стулья. И рабочие реставрационные халаты. Если реставраторы не забывали надеть эти положенные им по инструкции халаты.

Потому что вся эта рыжая пыль со столов и весь этот рассыпавшийся ржавый песок, в буквальном смысле уже какое-то распадающееся на молекулы и на гранулы железо, к реставраторам и к их животам и к их фартукам льнуло, облепляло.

«Перед нами меч так называемого синдо-меотского типа» – уже в другой раз сказал мне Юра и стряхнул всю эту синдо-меотскую пыль у себя на рубашке с живота.

И я записывала за реставраторами каждое новое слово, каждый термин: техника «реставрационная сетка», кракелюр... Название фотоальбома-отчета в мастерской по реставрации ткани – «Прорехи и дырки: до и после».

«На автора нельзя заходить! Работа исключительно только в пределах утраты!» – говорили мне реставраторы по живописи. И тоненькой кисточкой, подобрав тут же нужную красочку, вжих-вжих.

«На сок чеснока можно золото класть» – из разговоров (у чеснока очень хорошие природные клеящие свойства – адгезия).

«Присыпка детская хороша! И особенно при реставрации бисквита...» А я, когда услышала про бисквит, то конечно подумала, что это, наверное, пирожное. А оказывается, бисквитный фарфор.

«И не стоит тебе путать бисквит, – добавили еще тогда реставраторы специально, – с «бельём», с не расписанной и потому еще белой и чистой заготовкой»

«Ржавчина, – я перечитала записи в своем дневнике, – это итог окисления металла...»

Китайские фонарики были развешаны по коридорам музея по всем стенкам. Они напоминали мне кранцы на ладье. По всем углам мастерских были расставлены или складированы ожидающие своей очереди на реставрацию фигуры.

В большинстве прислоненные к стене, обращенные лицами к стене. Когда видны только спины и затылки. И иногда страшно, что этот каменный гость вдруг обернется.

Многие из этих фигур были укрыты такими белыми специальными простынями. Или они были обернуты в такую специальную микалентную бумагу (это такая бумага для обертывания и предохранения музейных вещей).

И проходя мимо особенно женских скульптур, охранник музея в усы хмыкал, как Сухов перед строем девушек освобожденного революцией Востока.

И стояли там всадники с конями. И были даже всадники без головы. И попадались отдельные, из гранита и мрамора изваянные бюсты и головы на блюде.

Знаменитое калиостровское: «Голова все может!» И я всегда вспоминала свою любимую «Формулу любви» перед этими расставленными на различных подносах или лежащими одиноко на блюдах скульптурными головами в коридорах.

Поэтов считала по головам в коридорах: Низами, Фирдоуси... Опять сбилась! И вместо тягучего «м-м-м», когда попробуешь чего-нибудь вкусное и сладкое, я говорила перед входом в хранилище музея Востока: «М-м-ньяма!»

А однажды, когда я пришла на работу, то увидела, как святых вон выносили. В прямом смысле этого слова – выносили! В музее была тогда пертурбация фондов и архивов. И кого-то из отреставрированных заносили, выносили.

Упаковано было все в коробках. На одной из коробок было нежно подписано карандашиком: «реставратору Диме Рыбакову от Оли, хранительницы фондов».

Удивителен музейный язык, которым заполняются регистрационные бланки и отчеты. Все эти музейные реставрационные паспорта и дневники.

«Рога и уши, борода – все обломаны!» – из описания скульптуры «Козел», Монголия, конец 19-ого века. Музыкальный инструмент «моринхур» – «порвались струны».

«Потерт, выцвел». Или «щербинки со вздутием лака». Все это обычное дело при поступлении на реставрацию предмета. А из особенно меня поразившего: у кого-то был «нимб не укреплен»!

И кто-то реставрировал меч, разложив кусочки меча перед собой, как куски рыбы. Реставратор по дереву Юля, моя тёзка, прочищала буддам уши. Да, вот она прочищала буддам уши. Аккуратно, таким ватным специальным тампончиком в растворе.

А у будд ведь очень длинные уши, с длинной мочкой. «Твои бы слова да будде в уши!» – мы шутили рядом с Юлей. И она что-то нашептывала буддам.

Она прочищала им уши, потом ноздри. Тампончики ваты у нее были смочены в укрепляющем составе. И в каждую трещинку, морщинку Юля делала буддам не болезненный, а поддерживающий красочный слой и сохранность у дерева укол.

А Марина все мыла и мыла посуду, она у нас реставратор по фарфору. Она намывала здесь горы посуды, замоченной по тазикам в мастерской.

Много тарелок, не утративших еще свою яркость и расписанных самой простой синей краской – синим кобальтом. Кто-то тысячу лет там назад за собою посуду не помыл и Марина теперь моет.

И ароматы от плова сохранились! Как Марина сказала, сохранились. Желтизна от всяких там ввевшихся приправ. И ты чувствовал, уже тогда своими простыми ноздрями, а не будды, как когда-то собиралась семья у очага.

Вот такая работа у всех моих реставраторов – земная. Помыть после тысячелетнего обеда посуду, вытереть нос бертолучиевскому маленькому будде.

А однажды, когда я пришла, то увидела, как перемывали богам пятки. Правда, точно пятки! Они торчали из уютного синего

детского тазика с водой, разведенной с лимонной кислотой, и, как мы парим ноги во время простуды, отмокали.

Реставратор Лена поливала на эти пятки из лейки. Она понимала и все мастерство древней лепки, и всю хрупкость. И каждый пальчик буквально просился в ее руки.

И мизинчики, как мне показалось, шевелились! А ноготочки на кончиках ступней этой старинной фигуры были покрыты, и это меня поразило, конечно же тоже, красным лаком.

Эти пятки оказались пятками знаменитого японского мифологического существа и, на минуточку, бога огня Фудо. По объективным реставрационным причинам бог покинул родную стихию огня и отмокал пока в этих ванночках с раствором.

Фудо, как поломанная детская кукла, лежал в ванной. А по легендам, его взгляд весьма даже грозен и горяч. И он зыркал на всех из своей этой игрушечной ванны недовольно.

Вот так вот, куда не зайдешь в мастерских, все ванны заняты! В них отмокают нарисованные тушью знаменитые японские сосны. Горы, воды. Тропинки, по которым пробирается водонос. Дымки, туманы...

Давно немытые кружки порыжели, и такое ведь тоже бывает, после чая. И я захотела помыть их, оттереть, чтоб с пачкой соды. Ведь это были не какие-нибудь там древние кружки, артефакты, а порыжевшие обычные кружки реставраторов. Со сдувшимся чайным пакетиком, со стенками, покрывшимися чайным налетом. Когда проведешь по этому слою налета, будет линия.

Но реставраторы меня – мудрецы! – остановили, когда я уже подбиралась с щеткой к кружке: «Ведь это все *история бытования*, пойми!»

И у кружки с чаем есть эта самая история бытования и у запыленного халата. И у рыжей водопроводной воды, когда идет у сантехников ремонт. Сантехника со всей этой порыжевшей водой отчасти ведь тоже бытование.

Пепел, как мне рассказали еще попозже в курилке, абсолютно ценнейший абразив, первостатейная полировочная паста. Кто курит, все пепельницы несут в мастерские к реставраторам. И я нигде, наверное, больше не встречала, чтобы вот так вот буквально сдували пылинки просто с пепла.

«А важна ли здесь марка сигарет?» – я спросила. Ведь я серьезно ко всему относилась и спросила. И один из курящих

стушевался и признался, что он, например, курит «винстон», «единичку».

Лёсс – это тоже для меня было новое слово. Полупесок, полуглина. Лежит в банках. И им здесь тонируют пробелы. «Реставрация по лессовой штукатурке» называется.

Росписи по лёссовой штукатурке были очень распространены в средние века в Средней Азии. И опытный реставратор может по цвету хранимого в баночке лёсса определить и назвать древний памятник: «это лёсс из Кара-тепе, из Топрак-кала...»

И это лёсс, привезенный сюда из экспедиций. И очень часто самими реставраторами. И он их зимними вечерами согревает – воспоминаниями об этих всех экспедициях, воспоминаниями теплыми.

Поэтому они и говорят иногда еще об этом песке, хранящемся у них в каждой банке из-под кофе – «это лёссик». И баночку с любимейшим своим лёссиком встряхнут.

И только здесь в мастерских я увидела такое бережное отношение к крошкам (а не только к пеплу). Когда все сметается со стола аккуратненько в ладонь, пересыпается, чтобы ни крошечки не проронить, на заранее подготовленные и подставленные блюда.

Кофейная пауза в музее Востока это чашечка кофе по-турецки, это финики родом из Ирана. Реставраторы варят поочередно на плитке клей и кофе. Кофе помещивают в джезве. И клей они тоже помещивают, чтобы не образовывались комки.

Клей из плавательных пузырей осетров. У осетров ведь тоже есть очень хорошие природные клеящие свойства – адгезия. Музей заказывает для мастерских плавательные пузыри осетров. «Жаль, что не целых осетров, а только эти плавательные пузыри!» – реставраторы смеются.

Кофе переливается у них, ароматное и дымящееся, в чашку, а клей из пузырей осетров еще варится, бурлит.

Света, художник-реставратор по ткани. Перед нею иголка, клубок ниток. Лупа, чтобы каждый узор рассмотреть. Измерительная ленточка оранжевая.

Для перекуса перед ней виноград и тоже какого-то рукодельного сорта – «дамский пальчик».

Света сварила на плиточке клей на основе японских морских водорослей. Эти водоросли называются – фунори. И из них еще



варят мармелад. А реставраторам эти водоросли нужны при подклеивании ткани и бумаги.

«А пахнет, когда варится, морем?» – я спросила. «Пахнет, Юля, клеем!» – мне устало ответила Светлана. Уж она-то этих водорослей морских в своей жизни в кастрюльках наварила!

Света над своей тонкой и поистине временами ювелирной реставрационной работой может год сидеть! Когда только стежок за стежком и день за днем.

Как Олег Даль пел у меня на пластинке «Расмус-бродяга»:

*Белый, белый будет снег,  
Серый, серый будет свет,  
А Мартина будет прясть  
Ниточку льняную...*

А сегодня весь наш реставрационный отдел снимали для рекламного отдела музея Востока, представляете! И реставратор по металлу Саша Фетисов пришел сниматься в своей рыжей от этой всей вьевшейся ржавчины рубашке.

«Да ты сам как проржавевший клинок!» – упрекнула его наша элегантная заместитель заведующего мастерскими Ольга Александровна.

И потом она спросила взволнованно: – «А Станислав наш Михалыч, который из дерева, снимался? И, кстати, а где Марина из глины? Где Марина?»

И понятно, что сам Станислав наш Михалыч не из дерева, а из мастерской реставрации по дереву. Да и Марина конечно не из глины, а из мастерской реставрации керамики. Но прозвучало, конечно, хорошо.

Вика, это папье-маше (реставрация по папье-маше). И я не знаю, как к Вике подступиться. Когда на вопрос «как дела?», человек вдруг отвечает тебе: «Реставрирую маску, Шри-Ланка, маска демона 18-ти болезней».

И эти маски они почти все из ритуалов, они используются во время священных буддистских ритуалов.

Во время исполнения ритуалов звучат трубы. И я сразу представила себе эти длинные и сверкающие на высокогорном солнце трубы, упирающиеся от тяжести в землю. Они называются – дунчен. Звуки труб напоминают всем крики слонов.

И вот с этой какофонией в голове, со звуками трубящих слонов Вика с десяти до шести реставрирует и подклеивает здесь маски.

Среди масок, и не по-доброму все как-то ощерившихся, у нее на столе стоит ее любимая кружка – «Рыболову».

А любимым актером у нее оказался, и ведь это тоже не случайно наверно, Жан Марэ, сыгравший в знаменитейшем фильме французском Фантомаса.

У музейного администратора Саши – и как я раньше не замечала и не обращала внимания! – татуировка на запястье: «все врут!» Но я не вру!

Охранник музея вышел на улицу покурить и у него вдруг зазвонил телефон. Все встрепонулись. Все будды, прибывшие сюда из фондов музея на поправку с регистрационными номерками на пятках, оживились, когда по пустеющим под конец рабочего дня коридорам разнеслось на рингтоне у нашего Леши-охранника под знакомых эпичных дворовых три аккорда:

*Давай поговорим о нас с тобой потом,  
Чтоб как-то снять с души ошибки наших судеб,  
Давай поговорим и вспомним обо всем,  
Что было так давно, чего уже не будет...*

Другой охранник музея Востока однажды обратился ко мне, он посмотрел на сгустившиеся тучи: «Уж небо осенью дышало!..» И я узнала, конечно, стихи и подхватила: «Короче становился день!..»

А он, уже не слыша меня, поглядел на статуи под номерами лежащих знаменитых восточных полководцев и сказал: «А вы знаете, что Монголию для России завоевал белый генерал Роман Федорович фон Унгерн-Штенберг?»

Юра из реставрации по металлу, ну это там где все эти заржавевшие слитки, сгустки, колья, оказался, ну вот вы только представьте, могиканом! Да, вот он у нас оказался могиканом! Причем, как он мне сразу сказал, говорить здесь надо именно «х», отнюдь не «г».

Ну, то есть он получается не могиканин – мохиканин. Тот самый Юра, который ходит по реставрационному отделу в тельняшке. И штаны у него еще всегда на подтяжках. И еще этот Юра курит трубку.

А на фотке для рекламного отдела музея Востока, когда нас всем отделом снимали, он снялся в своей красной пионерской пилотке, сохраненной им бережно с детства. И у меня, конечно же, в детстве была тоже такая.

У меня дома значков «ГТО» или «почетный турист СССР» тоже на полке полкоробки.

Я собирала и марки, потому что все в классе собирали. Космонавты и их космические аппараты на них. И конькобежцы. А из любимых – ну это конечно морские маяки.

И вот мне этот Юра признался, что он, оказывается, у нас здесь в музее могиканин. Могиканин! А могикане (и я вернусь все-таки к привычному «г», а не к Юриному новоявленному «х») это именно лесные индейцы, не прерийники. «Прерийники!» – и Юра презрительно здесь хмыкнул.

Он рассказал мне про племенной барабан и трубку мира. Про каноэ (а у Юры, конечно, есть каноэ). И он одновременно индеец, реставратор... А я ищу в киногогероях отца и возвращаюсь и возвращаюсь в своих воспоминаниях в Михайловское.

И не могу отказаться от иллюзий. Вот все никак не могу отказаться от иллюзий! Удостоверение музея Востока дает льготы при посещении любого другого музея. И я когда получила документы, реставраторы, конечно же, спросили меня: «Ты в какой музей пойдешь?»

Подразумевая, что я, конечно, пойду в Алмазный фонд, ну или в какой-нибудь впечатляющий музей, как минимум там в Третьяковскую галерею, все такое. Ну а я без раздумий им всем выпалила, что первым делом рвану в павильон иллюзий на ВДНХ. Вот я такая.

И мой папа, бесконечно от меня уходящий по шпалам, да, мой папа, был художник, и он посвятил много времени Востоку. Он иллюстрировал рубаи Омара Хайяма и на Дальнем Востоке писал сопки. И те же сосны, что на свитках у Юрия Степановича в ванной.

И он видел Тихий океан. Вот почему я и написала письмо с просьбой зачислить меня именно в Высшее Тихоокеанское училище!

И может быть, я ищу здесь в музее Востока что-то личное? Полуоборот промелькнувшей здесь папиной головы в одном из залов? Его привет, невольно здесь обращенный ко мне? Его напутствие?

У меня сохранились его разрисованные для меня поздравительные открытки – мне на праздник. Из его очень частых экспедиций (художников тогда отправляли в экспедиции). Он писал мне и из Самарканда, из Дербента.

А одна из самых последних полученных мною от папы открыток – новогодняя. С пожеланием обязательно мне поскорее научиться кататься на лыжах. Научилась.

## Луна в рыбе

И вот я живу здесь, представьте, на два мира. Одною ногою я здесь, другою там. Одно легкое дышит московским здешним воздухом, а другое хранит воспоминания. О травах, о чабреце, о полях. О сене, разложенном летом по полю сушиться полосами.

Я говорила уже, что из амбара я тогда переехала в деревню, расположенную недалеко от Михайловского. И осваивала всю эту деревенскую жизнь: как наколоть дрова, как наносить воды, затопить печку...

И подружилась со своей деревенской соседкой – тетей Машей. А тетя Маша любила потаенность. Ее дом стоял в стороне от основной деревенской дороги, не заметишь.

Она секретничала и постоянно заметала следы. Ведро воды и то лопухом она накрывала постоянно. От чужих глаз, как она мне обычно объясняла.

«На краю живу, как в раю» – была ее любимая поговорка. Но ко мне она заходила в гости часто. И очень часто приносила пирог. Он очень вкусный! И тетя Маша готовила его быстро, тяп-ляп-вжих.

«Соловей поет, пока соловья сидит на гнезде» – уточняла она для меня. «А огурцы сажать надо, когда зацветет третий венчик у калины...»

У меня была ладонь как ладонь. И как ты ее не крути, на ней останется линия жизни городская. А у тети Маши достающей весной семена из круглой миски (и мисочка была проложена мхом, чтобы семена в нем лучше прорастали) не ладонь была, а как она мне однажды сказала, была – пястка. И все, чего ты ей коснешься, прорастает. И поцеловаться еще обязательно через грядку тоже надо – огурцы так будут слаще.

Сирень у тети Маши росла перед домом всех оттенков. И мы к ней приходили весною все время за сиренью. И приходили к ней понюхать ее белый шиповник (мы как будто своим не надышались!).

И я обожала те дни, когда у тети Маши была намечена на улице стирка или баня. Я набирала ей воду в ее огромный уличный бак перед крыльцом.

Чтобы бак воды набрать, надо раза четыре до речки спуститься и подняться. Но зато когда черемуха осыпалась по воде, то лепестки все уносило течением, а не унесенное прибивалось с пеной к берегу.

Песчаный берег был конопатым из-за осыпавшихся веток черемухи. На уличных ведрах была эта пенка из черемухи. Ты обольешься, и на голове у тебя еще долго цветки и лепестки.

Весною мы сажали картошку вместе в поле. По кромке борозды идет лошадь, следом мы. Галки налетают на свежего весеннего червячка. На обед нас ждет мое любимое угощение – окрошка. И лошадь во дворе у нас обязательно перекусит – одуванчиками.

За лошадьё ухаживал Коля, это конюх. Мы с ним мечтали прокатиться когда-нибудь ночью на телеге, чтобы звезды были на небе разбросаны над нами. Чтобы Зоря (а так называли нашу деревенскую лошадь) перед нами бежала впереди.

Когда Зоря весною шагала по полю, у нее скрипели подпруги. Мы шли следом. Если Зоря вдруг останавливалась, останавливались и мы. И ждали, пока она размеренно разжует перемешанную с навозом солому (вот любила!).

Живот и бока у нее во время работы были мокрыми от пота. И у Коли, конечно, рубашка была мокрой. Он шел в своей потемневшей рубашке за Зорей и командовал: «Прямо, Зоря, прямо!» Чтобы она не сбивалась с борозды.

Я помогала тете Маше во всем. У нее однажды заболел поросенок. Ну, бывает. Он у тети Маши завшивел. И она меня позвала к себе на помощь.

«Давай, – говорит мне, – держи его за задние ноги!» Я держу. А поросенок орет и от слез он горячий весь становится. Тетя Маша его моет и дезинфицирует мылом и трет щеткой.

И мимо девушки идут из Москвы. Они приехали сюда из Москвы. И вечерами мы недавно с ними читали стихи на усадьбе, все такое. И вот я уже стою перед ними с поросенком.

Тетя Маша принесла однажды цыплят ко мне – погреться. Она их выпустила на стол, на наш деревенский, нагретый летний стол.

Мы на этом летнем и деревенском столе чистим рыбу, когда возвращаемся с рыбалки. Чистим грибы, когда возвращаемся из леса.

Художники у нас за этим длинным и деревянным столом летом рисуют. А в этот день, благодаря тете Маше, по этому столу прошагали и прогулялись цыплята. Рядом с пижмой.

Ели яблоки и к нам зашла в гости тетя Маша. Тетя Маша от яблок отказалась. Она присела с нами рядышком на ступеньку, говорит: «А у вас яблони перед крыльцом здесь растут, не замечали?!» И мы вскочили, конечно же, все, заволновались: откуда и где? какие яблоки?

А оказывается, мы яблоки ели, и огрызки разбросали. И они перед крыльцом проросли. И только меткий взгляд тети Маши, взгляд Фирса из чеховской пьесы, заметил этот будущий сад, пусть не вишневый.

Вторая моя большая подруга в деревне это Аля. О ее котах и о ней я могу рассказывать бесконечно. Бесконечно! «Поругаюсь зимою с котами и помирися. Зимою с кем мне поговорить? А тут лопочем...»

Коты ныряют и просачиваются и пролазят в ее дом, как воины ниндзя. В сенях они устраиваются лежать у кастрюль, у железных ведер с водой, на подоконниках.

Миски приходящим котам у Али стоят по всему дому. Бродячему коту, как увидит, Аля вынесет булку, ну хотя бы или хлеб или булку обязательно. И обольет еще растительным маслом, чтоб вкуснее.

Коты гремят у нее крышками чугунов на теплой печке. Они воруют отложенные ею гусиные перья, которыми Аля мажет разогретым сливочным маслом пироги.

Я позвонила ей однажды зимой, она рассказывала, что «дверинка» на колодце замерзла – отбивали и что ее атаковали коты, их уже девять, девять спасенных ею жизней – «и они не выпускают теперь из дома меня, пока еды не дам».

Без приходящих постоловаться котов, уже на законной основе, изначально у Али дома живут кошка Катька и кот Барсик. Барсика Аля иногда называет «апостол»: «мой апостол!» А кошку Катьку за ее зеленые и большие глаза иногда еще называет «стрекозой». И «золотинка моя» и «ведьмовка» – все о Катьке.

И эта Катька у нее однажды зимой уснула в печке. А Аля не заметила Катьку и стала уже печку топить. И поднесла уже спичку к растопке, а там Катька. И лишь в последний момент, как тигр в цирке через огненное кольцо, Катька выскочила. В саже.

Аля то отчитывает свою любимую Катьку: «Как ты дошла до такого образа жизни?!», то жалеет: «Посыпальница моя!» «Посыпальница» – потому что они спят на печке вместе.

«Вот умру, и отнесите меня к моим любимым котам, где коты мои захоронены, в черемуху»

Угощая, она раскладывает мне и котам еду по мискам: вначале мне, потом Барсику (Барсу), потом Катьке. Барс капризничает, и Аля его уговаривает нежно: «Ай-яй-яй, Аля кашу манную ела, ты не ешь!»

Аля рассказывала мне иногда еще и о танцах, о гармонии. О разнице между «плясать» и «танцевать». Танцевать это когда фокстрот или вальс, а плясать это под гармонь и частушки. Вот такие:

*Я любила любоваться на сирень завитую,  
Посмотри, мой милый дряля, на меня забытую!*

«Все, что не нужно, – Аля жаловалась иногда мне на память, – мигом вспомню. Сто седьмую серию сериала, места клюквенные, на которые мы ходили в Федках. А куда очки положила или пенсионную книжку – вот не вспомню!»

«Телефон звонит, а мне на кровати уже от усталости сон снится» «Раньше я издалека любую мусоринку в саду видела, а сейчас?»

Или: «Вот мы с Надей Лапиной дружили. Вместе с ней в баню ходили. И Надя все брови черным красила. Карандашом рисовальным. «Вот умру, – она мне всегда говорила, – вы мне брови почерните!» А дочка, Инка, не почернила. И что делать?»

«И еще мы с ней всегда говорили, с этой Надей, что кто первый из нас с ней умрет, пусть потом придет ко мне во сне и расскажет: как там? И вот Надя умерла, не приходит. А я жду» («Вот умру, и я к тебе тогда буду ходить!» – шутя, грозит мне).

Собираюсь в поселок, а Аля мне из дома кричит: «Не забудь, Юленьк, деньги в портмонете!» «Луна такая – вышивать даже можно!» (так светло).

А когда тетя Маша у Али выпытывала в марте «а когда, а когда начинать рассадку сеять?», Аля ответила ей, что «когда луна будет в Рыбе». Луна в рыбе!

Рядом с Алей я уловила меняющуюся по временам года жизнь тазов. Эти тазы все очень часто забывают на улице и дождевая вода в них наберется.

В кастрюлях выносили рассадку. Старые чайники выносили на улицу поливать летом цветы. У Али таким образом было посеяно и

разбросано много старых чайников, но новые почему-то еще до сих пор не проросли.

Мы законопачивали оконные рамы на зиму, вставляли туда вторые рамы. Вдруг Аля выбежала во двор, схватила охапку багряных, желтых листьев и разбросала по подоконнику меж стекол.

Между рамами для красоты у нас всегда оставляют эти листья. И патиссоны. И декоративные несъедобные тыквы полосатые. Оранжевые фонарики от физалиса. По подоконнику видно, как человек провел свое лето, что достиг.

И у Али у первой всегда появлялась весной на подоконниках в бумажных стаканчиках рассада. У нее у первой всегда появлялись в июле огурцы.

И начиная с весны, она меня уже звала на обед и все рассказывала: «Вот, погоди, и мы редис с тобой уже будем есть! Вот, погоди, огурцы пойдут и перцы...»

А грибы, которые никто не заметит, отвернется (даже наш Валентин Анатольевич с пещицей!) Аля бережно всегда называла – «попрошонки». Как будто они даже просят, чтобы грибники их заметили и взяли.

Я раскалывала у нее сливу в саду, старую сливу, мы ее из-за возраста спилили. И Аля водила меня за собою по саду, говорила, что она посадит на месте этой спиленной сливы потом вишню.

И это будет обязательно у нее какая-нибудь культурная вишня, не дичок. И когда она говорила об этом, что «культурная», она говорила об этой будущей вишне очень нежно.

Чтобы колоть, она мне вынесла «стуло» («тебе нужен сейчас стуло?» – у Али так зовется пенек). И когда я поставила одно из невзрачных сливовых поленьев колоть на это «стуло», то увидела перед собою глаза. Попался спил, где ствол расходится на две ветки. И основания у этих двух веток как глаза.

Аля работала бригадиром в колхозе недалеко от Михайловского. В колхозе имени Александра Сергеевича Пушкина (ну а кого в нашей местности еще?). И получила в подарок наградные «Слава».

У нее были ручные часы. И то и дело у меня Аля смотрела и смотрела на них: когда корову доить или когда ей почтальона встречать. Она начнет мне рассказывать что-нибудь и спохватится (потому что посмотрит на часы).



И в огород она уходила с утра. Край огорода у нее называется «берегом». Далекие были у этого ее огородного моря берега.

Тихо и пусто становится у нас в деревне перед закатом. Что случилось? Коровы возвращаются с поля! «Не рычи!» – успокаивает слишком ретивых пастух Павля. А деревня уже встречает: Цветоню, Вербу, Марту... «Идет, идет моя дочка, идет барыня!»

И через полчаса после всей суматохи, после угощения коров обязательно яблочком и хлебом, мы находили под дверью теплое вечернее молоко – мартовское. От коровы Марты. Это Алина корова.

И не могу еще не сказать о помидорах! У Али просто какая-то была невероятная тяга к помидорам. Ох, как она обожала помидоры! Она рассаду от котов защищала. Потом рассада переезжала с ее нагретого весеннего подоконника в теплицу.

И мое участие в этой помидорной тепличной летней жизни заключалось, как правило, в том, что я приносила в теплицу в поставленный бак для полива в ведрах воду. А воду брала из зеленого мочила (пожарный пруд такой на окраине огорода). И он был постоянно зеленым из-за ряски.

В теплице пахло помидорной травой. Помидоры ведь очень пахучие и терпкие. И сама Аля всегда немножечко пахла помидором.

Помидоры у нее вырастали огромные. Они были у нее очень крупного сорта – бычье сердце. И кожура еле сдерживала сок. Аля нарежет мне помидоры во время обеда, угощает. Такой огромнейшей частичкой от сердца. Не забыть!

Они поссорились еще с тетей Машей однажды, ну бывает. И Аля Маше сказала от обиды: «Да я лучше поговорю с помидором, чем с тобой!»

Или они еще поругались однажды, на каком расстоянии надо весной сажать капусту. Если на маленьком, то капуста и получится маленькая – «шамки», как сказала тетя Маша. А на большом капуста вся вымахает и тогда получится «хряпа», так сказала Аля.

Мы с Алей «грабили», ворошили летом сено, Маша увидела нас с Алей на другом конце поля и кричит: «А вы ведь неправильно грабите!» Вот она была такая.

В гостях тетя Маша сядет всегда по центру комнаты. Ей поставят табурет у стола, а она его к центру передвинет. И сидит-то на самом краешке стула, что как будто сейчас встанет и уйдет. Но внимательно при этом наблюдает все время за всем и зорко смотрит.

У Али выкипает кастрюля, Маша скажет: «У тебя чугунок-то, Аля, гляди, уже поплыл!»

Зимою они обе смотрели телевизор. Включено было на полную громкость, чтобы слышно. «Просто Мария» переключалась из окон с «Дикой Розой».

Я постучу в окно, и достучусь-то не сразу, постепенно. Аля отдернет на стареньких окнах занавеску, и долго будет всматриваться в темноту. И потом еще спросит: «Юленьк, а это ты?» И я уже вижу у Али тетю Машу.

У Али были очень сложные взаимоотношения с телефоном, с телефонным аппаратом. Ее пальцы всегда с большим трудом попадали в циферблат.

И она еще постоянно стеснялась, что не слышит. Она кричала всегда в эту пластмассовую трубку. И я всегда поневоле тушевалась, когда на свой тихий и размеренный голос из Москвы, я слышала резкий и преувеличенно громкий голос Али. И мне казалось, что это Аля ругается. А она просто хотела тогда до меня донести, докричать свою любовь.

Помню запах корыта, в котором Алечка мыла посуду. Помню запах спички, когда ты ее подносишь к конфорке. Запах пола, и он почему-то у Али пах картошкой. Хотя подвал летом чистили, проветривали, но все равно этот запах оставался.

И помню в комнате еще запах занавески. Когда занавеску нагрело летом солнце. На кухонном столе обязательно запах пачки соли. Потом запах хозяйственного мыла.

Аля редко покупала душистое, у нее было больше все хозяйственное. Да и душистое у нее от земли очень быстро чернело и темнело. Когда земля на ладонях засохнет толстой коркой, и ты сошкрябываешь ее под водой и коричневая вода вся стечет. И помыть в воде лопату!

Запах ведер и запах свежей принесенной воды из колодца в коридоре. И потом запах дверной ручки. Запах лавочки, на которой летом лежали кабачки.

Запах вычищенной из поддувала золы (и ее потом в совке вынесут на улицу). Запах сложенного в саду горбыля. Запах калитки, заросшей у Али золотыми шарами (у Али эта калитка была из сетки рабицы).

И, конечно же, запах подвала. Очень помню! Але тяжело уже было самой чистить этот подвал, да и я не вовсе углы заглядывала.

Страшновато мне было в этом сумраке с этим тоненьким светом из оконца (оконце называется продух). Со столбами, покрывшимися белым налетом из-за сырости.

Ну и конечно я помню запах Али. Запах ее немного засаленного фартука, в кармане которого обязательно найдутся упаковки из-под посеянных ею семян или прищепки.

Аля вытрет после тяжелой работы о фартук свои руки и тут же крепко приобнимет меня. Она меня всегда обнимала очень крепко.

### Путь волхвов

И о чем сейчас здесь получается книга, я не знаю. О песке для сурикатов в песочнице. О песке из псковских речек.

О попугайном, мелко-мелко просеянном песке, он им нужен для восполнения дефицита минералов. О музейном реставрационном песке – этом рыжем лёссе в банках.

О моих, возможно, что тоже каких-то реставрационных и бесконечных попытках сохранить историю своей и маминной жизни, «бытования».

О деревенских разговорах у печки: «Вчера в клюкву ходила, лося встретила, кричу ему во весь рот: «Ах, ты, мой зайченька, мой волченька...»

А реставраторы плетут свои нити Ариадны, они вдевают свою золоченую ниточку в иголку. Они отскабливают от налета и пыли старинные гашишные трубки из слоновой кости.

На столе у них шпильки от титулованных китайских красавиц и заколки. С изображениями крыльев стрекоз и с шевелящимися усиками жуков.

В переводе с китайского все эти кулоны означают – «трястись при каждом шаге». И если задуматься, то это такой маленький нефритовый кукольный театр на голове.

Принесли в мастерские недавно панно из перламутра. На нем уже очень многие камешки отклеились. И чтобы его снова собрать, восстановить, реставраторы над этим панно (а как будто бы над домино!) все сидят вечерами и сидят. Подперев отяжелевшие головы руками.

Читаю книгу о японском искусстве «лесных ванн», так японцы называют свои лесные прогулки. И полюбила японского художника. Его картины мне напоминают Михайловское. Валуны посередине

реки. Дуги теплицы. Подпорки под отяжелевшие старые яблони в саду. Пустынный парк и рабочие катят по парку в тачках листья. Точно также как возил у нас эти опавшие осенние листья Одиссей.

Мама учит заново французский язык. Словарный запас у нее сейчас: Рита – «э бэль», Сура – любимец, «шушу» (chouchou). Ну а вместе с Ритой они конечно – «иль сэм» (ils saiment), ну то есть они любят друг друга, они дружат.

И песочные часы у меня сейчас осыпаются в колбе – три минуты. И что я могу вам сказать за три минуты? Что у меня Рита – а я ведь еще не говорила об этом! – из Кронштадта! У нее мама из Вологды, а сурикат-папа, и в это сложно конечно поверить, из Кронштадта!

И так сложилось, что Риточка получила в детстве травму. И половину уже этой книги провела – будучи ее главным героем! – с произошедшей этой травмой. Ей пришлось ампутировать часть передней лапы. Так бывает.

Но сурикаты-балтийцы не сдаются! И во время операции Рита держалась очень мужественно. А после она была вся измазана в зеленке. Террамицин весь размазался по телу. И я называла тогда свою Риту вместо Риты – Риной, как артистку, когда-то сыгравшую Тортиллу. Рина и Рита Зеленые. И неунывающие обе!

Я принесла сурикатам недавно из леса чурбачки. Они труху из середины подгнившего дерева всю вынут, они спрячутся, как будто бы в жерле у гаубицы, выглядывают. Как Мюнхгаузен перед знаменитым полетом на Луну.

В ракушки, а я им отдала и ракушки, сурикаты засовывают носы и дышат, дышат. Любимейшее занятие у Риты: засунуть в дырочки на глиняной дудочке свой нос!

Выключатель оторвали от бра. И опять полстены уже раскопаны! Я им недавно подарила им глобус, они вертят. И то Африка у нас, ну а то Антарктида промелькнет.

Замерев, сурикаты принимают подолгу пронизывающие солнечные ванны. Луч на животе суриката как один большой горчичник. Не крокодил проглотил в сказке солнце – сурикаты.

Они лежат на балконе, распластавшись. Ветерок качает развешанное у меня на балконе белье... Кто рано встает, тот на балконе поскорее на солнце пузо греет (старинная африканская поговорка сурикатов).

Как я любила, когда мне мама разрешала поспать на балконе! Миниатюрный поход, когда раскладывалась на балконе раскладушка. Когда ты вроде бы и дома и не дома. И этот запах от прорезиненной ткани раскладушки...

Мой капитанский мостик – балкон! Я на балконе когда-то простаивала все вахты (когда я еще служила матросом).

Балкон – приобретенное чувство высоты. И обязательно ни этажом выше или ниже. Вот Вовка Груздев он жил в нашем доме на четырнадцатом и у меня, когда я была в гостях у него, постоянно кружилась голова, а на своем этаже и балконе не кружилась.

Когда я в школе училась, то оставляла тетрадки на балконе. Страницы тетрадок обветривались и покрывались таким ощутимым слоем пыли. И все на балконе всегда покрывалось слоем пыли.

Сура смотрит с балкона на качающиеся от ветра деревья и на листья. И на парк, по которому я когда-то бежала на лыжах на уроках физкультуры. Вся моя жизнь сейчас перед сурикатами распахнута.

Люди расходятся на работу, Рита смотрит. Сура тоже смотрит. «А тучи над городом встали? А в воздухе пахнет грозой?» – интересуется.

И мы увидели с Ритой сейчас – ну вот сейчас! и откуда он взялся в Москве?! – настоящего дельтапланериста!

Какие ладненькие у меня сурикаты, как они природой задуманы и созданы все целесообразно! И как у них шерстка блестит, расфуфыренная, чтобы прогрелась на солнце получше. И как реснички на солнышке сверкают.

И я лизнула сейчас пятку у суриката! Захотелось! Солоноватые у них пятки какие-то, как ракушки.

Рита укусила вчера не кого-нибудь, а самого подполковника милиции! Вот так-то! У нас была в гостях старая мамина подруга, и она как раз подполковник милиции. И Рита ее за руку тяпнула.

Причем Рита тяпнула товарища подполковника два раза: «Да у вас Рита, – сказала подполковник Галина Григорьевна – как я погляжу, рецидивистка!»

И это все Рита устроила из-за яблок. От Галины Григорьевны очень вкусно пахло яблоками.

Запасаю для попугаев всю сейчас на зиму початки кукурузы. Раздобыла волшебные солнечные головы подсолнечника. У меня есть початая бутылка вина, а у Лексуса сладкий початый початок кукурузы.

И вспоминаю сейчас, как я в Москву возвращалась очень часто под утро из деревни. Что во дворе у нас было очень тихо.

И этот запах еще совсем пустого подъезда, потом лифта. И запах своего этажа. Каждый этаж на самом-то деле очень даже по-своему пахнет, чем-то дышит. Восьмой этаж в нашем доме существенно отличается от девятого.

И уже очень давно я почему-то хотела увидеть (и увидела!), как рождается бумага. Бумага ручного изготовления. Когда будущая бумага замачивается. А потом она просеивается через сито (у сетки должна быть еще очень мелкая ячея).

Во время процеживания через сито вытекает вода и на сетке после этой ушедшей воды остаётся мокрая и такая немного вонючая жижа и каша из размокшей целлюлозы.

Потом эту кашу из сетки вытряхивают и кладут ровным слоем на поверхность (и она будет изнанкой бумаги). Прижимают эту массу под прессом, потом сушат. И через парочку солнечных дней перед тобой настоящий лист бумаги.

И если все это у тебя летом сушилось на улице, на подоконнике, на солнце, то на бумагу попадают и отпечатываются на ней семена берез и растений. Крылья бабочек. И какие-нибудь еще оброненные пёрышки от птиц. Отпечаток от залетевшей травинки.

Для плотности в эту будущую бумагу можно добавлять что угодно. В эту серую и, казалось бы, такую безликую массу, которая настаивается до процеживания в чане.

Можно добавлять упаковки из-под куриных яиц и пельменей (главное чтобы они были картонными, бумажными). Можно добавлять корни ив – у некоторых ив есть такие воздушные корни, и они сами оплетают стволы.

А я бы хотела добавить когда-нибудь в свою ручную бумагу шерсть волчицы. У меня много осталось Ирминой шерсти после линьки. Я вычесывала Ирму всегда. И храню ее шерсть сейчас в пакетах.

Волчица весной у меня всегда выгрызала из луж льдинки. И она потом выносила их на сушу. Одну положит и сразу же пойдет за другой. Мне кажется, что она выкладывала из льдинок слово вечность.

А с сурикатами мы сейчас полюбили всем сердцем и ох, как оценили сейчас веб-камеры! Мы подключились к местечку в Южной

Африке. Мы присматриваемся потихонечку к Африке (и самое главное, что и Африка потихонечку тоже присматривается к нам).

Трансляция идет круглосуточно, и ночью. Когда мы ночью смотрели, все во тьме. И по экрану мелькали мотыльки. Высвечивались из темноты, из кустов чьи-то глаза (возможно, хищников). Молнии ударяли вдалеке. Летали и жужжали жуки, временами ударяясь о камеру (нам слышно).

С подводной камеры, и это уже были съемки в Канаде, мы посмотрели с Ритой и Сурой на миграцию лосося.

Посмотрели камеру у гнезда белоголового орлана на Аляске. Хотя чего там на него нам смотреть? Ведь он сидит себе и сидит. И к тому же еще он к нам спиной. Очень редко он достаивал нас взглядом.

Но через время, когда мы к нему еще разок подключились, он уже высидел птенцов! И я поняла, что к этому гнезду нас притягивало. Дело в том, что оно на высоте! Приятно нам было немного побыть на высоте белоголового орлана.

Посмотрели мы и на африканские туманы. На полдень с назойливым жужжанием мух. Посмотрели на гнездо черных аистов в Прибалтике – ночью (ну мы, конечно, нашли время!).

А Света, мой любимый реставратор по ткани, недавно на работу в мастерские пришла в новой юбке, ею сшитой. И мы все эту юбку оценили. Света специально, чтобы мы все хорошо рассмотрели, покружилась.

И оказалось, что там еще по подолу идут строчки. Они были вышиты от руки. И все букочки аккуратные, стежками. Было вышито пока только одно четверостишие.

И как вы думаете: что же вышила Света? Басё? Хокку? Ну, раз дело происходит в музее Востока, то наверно это хокку.

Но на подоле у Светы оказалась вышита строчка из стихотворения Томаса Элиота «Путь волхвов». Причем не начало там или конец (что было бы на самом-то деле привычно, объяснимо), а это был очень продуманный выбор! Четверостишие было извлечено из сердцевины, середины.

На подоле кружащейся юбки у Светы было вышито крупными буквами, читаемо: «На рассвете мы миновали снега и спустились в долину, влажную и пахнущую травой, где бурлил поток, и мельница молола во тьме жерновами...»

Света кружилась и кружилась, а я, стоя перед ней на коленях, ловила глазами все эти буквы и строчки по низу, переписывала.

... Включили опять нашу любимую веб-камеру в Африке, а там у них вечеринка в чистом поле. Искры от костра поднимаются в небо, голоса по саванне все разносятся. Певцов не видно, видны только их размытые тени. И слышны порывы ветра.

Когда мы слушали, как поют коренные африканцы, мне кажется, что и Рита и Сура понимали эту родную когда-то для них речь.

Если долго, долго, долго,

Если долго по дорожке,

Если долго тропинке,

Топать, ехать и бежать,

То, пожалуй, то, конечно,

То, наверно, верно, верно.

То, возможно, можно, можно,

Можно в Африку попасть!

А там (и Лексус и Тая подключаются) реки вот такой ширины!

А там горы вот такой вышины!

А там крокодилы, бегемоты!

А там обезьяны, кашалоты!

А-а и зеленый попугай!...

Аккордеон лежит на боку, сейчас вспоминаю. Тропинка уходит от нашего деревенского дома через сад. Человек играл и оставил аккордеон лежать на стуле. Ремешок свешивается, как всегда.

Черный аккордеон рядом с кустом черной старой смородины. Мне понравилось это сочетание.

Ну и Светина реставрационная юбка чтоб кружилась.